

Ника Мур. Реабилитолог для мажора из будущего

Ника Мур

Реабилитолог для
мажора из будущего.
Попаданец в СССР.



Ника Мур

Реабилитолог для мажора из будущего. Попаданец в С С С Р

<https://litres.ru/74469232>

Аннотация

Вчера я мчал на Ferrari по ночной Москве, сорил миллионами и не знал слова «нет». У меня было всё, кроме сердца. Сегодня я очнулся в 1978 году. В обшарпанной советской больнице, где пахнет хлоркой, а вместо смартфона на тумбочке — газета «Правда». Врачи вынесли приговор: я никогда не буду ходить. Родители — простые работяги, которых я не узнаю — привезли меня в тесную хрущевку. Я заперт в теле калеки в мире, где нет интернета, зато есть ковры на стенах и колючие шерстяные одеяла.

Я ненавидел этот мир и всех в нем. Пока не появилась она. Елена. Мой реабилитолог. Ей тридцать пять, у неё стальной характер и глаза, в которых застыла тихая печаль. Она не верит моим сказкам о «будущем» и не боится моего хамства. Она — единственная, кто может поставить меня на ноги. И единственная, ради кого я готов перевернуть саму историю, чтобы остаться здесь навсегда.

В книге вас ждут: ✓ Мажор на перевоспитании: Из циничного эгоиста в настоящего мужчину. ✓ Сильная и мудрая героиня:

Врач, которая лечит не только тело, но и душу. ✓ Атмосфера СССР: Ностальгия, дефицит, искренние чувства и тот самый вкус пломбира. ✓ От ненависти до любви: Искры будут лететь так, что зашкалит счетчик! ✓ Противостояние: С бандитами прошлого и собственным высокомерием. ✓ Хэппи-энд: Обязательный и очень эмоциональный!

#попаданец_во_времени #от_ненависти_до_любви
#сильная_женщина_сломленный_герой #СССР_ностальгия
#исцеление_души

Содержание

Глава 1 (Марк)	5
Глава 2(Марк)	13
Глава 3(Марк)	20
Глава 4(Елена)	30
Глава 5(Марк)	38
Глава 6(Елена)	45
Глава 7(Марк)	53
Глава 8(Елена)	61
Глава 9(Марк)	69
Глава 10(Елена)	77
Глава 11(Марк)	85
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Глава 1 (Марк)

(от лица Марка)

Холод в квартире на сорок восьмом этаже всегда был рукотворным. Климат-контроль поддерживал идеальные восемнадцать градусов, чтобы шелковые простыни «Frette» казались бодрящими, а не ледяными. Я открыл глаза и пару минут просто смотрел в потолок, где едва заметно вибрировал отблеск утреннего солнца, отраженного от стекла соседней башни «Меркурий».

В голове было пусто и чисто. Ни похмелья, ни планов, ни желаний. В тридцать лет я достиг того состояния, когда мир кажется заезженным до дыр аттракционом. Ты знаешь, где тряхнет, где будет скучно, а где аниматоры в очередной раз попытаются продать тебе сладкую вату по цене золотого слитка.

Смартфон на тумбочке коротко вибрировал. Уведомление из банка: «Зачисление. 12 000 000 руб.». Отцовский транш на «текущие расходы». Я даже не улыбнулся. Эти цифры давно превратились в очки в компьютерной игре, которые копятса сами собой, пока ты просто стоишь на месте.

Спустившись в столовую, я застал родителей. Это был наш редкий ритуал — завтрак по четвергам. Отец, Виктор Николаевич Савицкий, сидел во главе стола, обложившись планшетами. Его лицо напоминало монумент самому себе: суро-

вое, высеченное из гранита десятилетиямистроек и бесконечных судов за землю. Мать, Лидия, задумчиво ковыряла ложечкой семена чиа в кокосовом йогурте.

— Ты опоздал на семь минут, Марк, — не поднимая глаз, произнес отец. Голос у него был такой, будто он зачитывал приговор подрядчику.

— Мир не рухнул, пап. Пробки в лифте, сам понимаешь, — я отодвинул тяжелый стул и кивнул горничной, которая тут же поставила передо мной чашку эспresso.

— Я посмотрел отчет из твоего «инвестиционного фонда», — отец наконец отложил планшет и посмотрел на меня.

— Ты купил долю в киберспортивной команде? Это шутка?

— Это будущее, — я лениво отпил кофе. Он был идеальным, но на вкус — как обычная горячая вода. — Через пять лет они будут стоять в десять раз больше твоего цементного завода в Подмосковье.

Мать вздохнула, поправляя безупречную укладку. Она в свои пятьдесят пять выглядела на тридцать пять благодаря лучшим хирургам Швейцарии, но глаза у нее всегда были какими-то застывшими, как у куклы в витрине.

— Витенька, ну не начинай. Марк ищет себя.

— Он ищет способ потратить мою жизнь на ерунду, — отрезал отец. — Завтра в десять жду тебя в офисе. Подпишешь документы по тендеру на застройку в Нагатино. Хватит играть в бирюльки, пора входить в семейный бизнес взрослому.

— Завтра я занят, — я придвинул к себе тарелку с яйцами пашот и спаржей. Выглядело это как натюрморт из дорогого журнала, но аппетита не было совсем. — У меня тест-драйв новой яхты в Питере.

Отец медленно положил вилку на стол. Звук металла о фарфор прозвучал как выстрел.

— Марк, ты хоть понимаешь, сколько людей в этой стране работают всю жизнь, чтобы заработать на одну покрывку твоего автомобиля?

Я поднял на него взгляд. Спокойный, почти сочувствующий.

— Понимаю, пап. Поэтому я этого и не делаю. Зачем работать, если ты уже всё заработал за меня? Ты хотел наследника империи — ты его получил. А то, что он предпочитает яхты цементу, — это уже издержки твоего воспитания.

Мать снова вздохнула, а отец просто отвернулся, возвращаясь к цифрам в планшете. Для него я был неудачным проектом, который нельзя было снести и построить заново.

Я допил кофе, оставив нетронутой еду, за которую любой гурман отдал бы ползарплаты, и просто вышел. Мне нужно было пространство. Настоящее, а не этот стерильный склеп из мрамора и панорамных окон.

К трем часам дня я был в «Savage». Это был один из тех ресторанов на Патриарших, где бронируют столики за месяц, а официанты выглядят как выпускники театральных вузов.

За столом меня уже ждали Дэн и Макс. Типичные «золо-

тые мальчишки», чьи биографии были написаны под копирку: частные школы Лондона, дипломы МГИМО для галочки и бесконечные тусовки в Дубае.

— О, явился король! — Макс поднял бокал с прозрачным джином. — Мы тут обсуждаем, куда лететь на выходные. Дэн топит за Бодрум, а я хочу в Монако, там сейчас финал покерного турнира.

— Везде одно и то же, — я сел в кресло и жестом подозвал официанта. — Принеси то же самое, что у него. И скажи шефу, чтобы в тартаре было поменьше трюфеля, я не в лесу живу.

Официант кивнул так подобострастно, будто я только что спас его от смертной казни.

— Скучный ты стал, Марк, — Дэн лениво рассматривал проходящих мимо девушек, которые, завидев наш столик, невольно выпрямляли спины и поправляли сумочки. — Смотри, какая блондинка. Третий раз круг по переулку дает, ждет приглашения. Хочешь, позову?

Я мельком взглянул на девушку. Красивая. Тщательно отредактированная косметологами красота, одинаковые губы, одинаковые скулы. Как стандартная комплектация автомобиля.

— Не хочу. Они все на одно лицо. Сначала «ой, я не такая», а через час вопрос — на какой курорт мы летим завтра. Скучно, Дэн. Предсказуемо до тошноты.

— Слушай, ну если тебе бабы скучно, и деньги скучно,

может, тебе в монастырь? — хохотнул Макс. — Или вон, как мой кузен, в волонтеры запишись. Будешь котикам хвосты мыть.

— Я просто хочу чего-то настоящего, — я сам удивился этой фразе. Она прозвучала как цитата из дешевого паблика. — Понимаете? Чтобы дух захватило. Чтобы не знать, чем закончится вечер.

— Тогда тебе на гонки, — Дэн придвинулся ближе. — Сегодня ночью на дублере Кутузовского. Парни из «Major Club» собираются. Будет один тип на «Lamborghini Revuelto», говорит, что сделает любого. Ставит на кон ключи от тачки.

Вот это было уже интереснее. Не деньги. Ключи. Азарт.

— Во сколько? — спросил я, чувствуя, как внутри наконец шевельнулось что-то похожее на интерес.

— В полночь.

Я оплатил счет за всех троих — почти восемьдесят тысяч за пару коктейлей и закуски, к которым мы едва прикоснулись. Официант получил «на чай» пятерку и расплылся в улыбке. Я вышел на улицу, щурясь от яркого солнца. На парковке меня ждала она. Моя Ferrari 812 Superfast. Алая, как свежая кровь на снегу. Единственное существо в этом мире, которое я по-настоящему ценил. Она не лгала, не подстраивалась и не требовала ничего, кроме полного бака и твердой руки на руле.

Ночь пахла перегретым асфальтом и предчувствием

шторма. Кутузовский в это время был почти пуст, если не считать редких таксистов, которые шарахались от нас, как от зачумленных.

Рев моторов заполнял пространство между высотками, отражаясь от стекла и бетона. Вокруг машин толпились люди, вспышки смартфонов слепили глаза. Я сидел в кабине своей Ferrari, чувствуя, как сиденье-ковш плотно обнимает мое тело. Здесь, в этом маленьком пространстве, обитом карбоном и алькантарой, я был на своем месте.

Тот парень на «Lamborghini» — наглый юнец с безумным взглядом — подкатил вплотную. Мы обменялись короткими взглядами. Он что-то крикнул, но за ревом V12 я не расслышал ни слова. Да это и не имело значения.

Девушка в коротких шортах вышла на середину трассы. Подняла руки.

Сердце начало вбивать ритм в ребра. Раз. Два. Три.

Руки вниз.

Я бросил сцепление, и мир сошел с ума.

Перегрузка вжала меня в кресло так, что из легких выбило воздух. Первая, вторая, третья... Ferrari ревела, как раненый зверь, стрелка тахометра билась в красной зоне. Здания по бокам слились в серую стену. Я видел только задние огни «Lamborghini», которые маячили впереди, дразня меня.

«Не сегодня, щенок», — пронеслось в голове.

Я ушел в левый ряд, обходя его на вираже. Скорость перевалила за двести двадцать. Руль стал тяжелым, послуш-

ным, как продолжение моих рук. Я чувствовал машину каждой клеткой. Это был тот самый момент. Момент абсолютной власти. Я бог. Я бессмертен.

Впереди был затяжной поворот под мост. Я не сбросил газ. Наоборот — нажал еще сильнее.

И в этот момент всё пошло не так.

На полосе внезапно возникла тень. Тяжелый грузовик-поливалка, медленно ползущий вдоль отбойника. Без огней, без знаков — просто стена из грязного металла прямо передо мной.

Я дернул руль вправо. Ferrari вильнула, шины взвизгнули, теряя сцепление с асфальтом. Машину начало крутить.

Вспышка.

Мир перевернулся. Один раз, второй. Грохот сминаемого металла был таким громким, что, казалось, лопнут барабанные перепонки. Звон разбитого стекла превратился в медленный танец сверкающих искр.

Я видел, как подушка безопасности вылетает мне навстречу — белое облако, пахнущее порохом.

А потом пришла боль. Острая, невыносимая, она прошила позвоночник сверху вниз, как разряд тока в миллион вольт. Я хотел крикнуть, но в горле был только вкус железа. Кровь.

Машина наконец замерла, уткнувшись в разделительное ограждение. Я висел на ремнях вниз головой. В кабине было тихо, только где-то под капотом что-то шипело и капала

жидкость.

Тишина. Та самая, которой я так искал.

Я попытался пошевелить рукой, но тело не слушалось. Оно стало чужим, тяжелым и абсолютно бесполезным мешком.

«Спина...» — мелькнула четкая, ледяная мысль.

Вдалеке послышались сирены. Синие и красные блики начали плясать на обломках моего алого автомобиля. Я смотрел на асфальт через разбитое окно. Прямо перед моими глазами лежал мой смартфон. Экран был разбит вдребезги, но он всё ещё светился.

Пришло новое сообщение. «Бро, ну ты где? Мы тебя ждем в клубе».

Я закрыл глаза. Темнота начала засасывать меня, как черная дыра. Она была густой, пахла жженой резиной и... почему-то ландышами.

Последнее, что я почувствовал — это как холод ночного воздуха сменяется странным, удушливым теплом. И чьи-то голоса, зовущие меня по имени. Но это было не моё имя.

— Марк! Маркуша, сынок! Господи, живой!

Я хотел сказать, что я не Маркуша. Что я — Марк Викторович, владелец империи, бог скорости. Но тьма оказалась быстрее. Она накрыла меня с головой, обрывая все связи с миром, где Ferrari стоила больше, чем жизнь.

Глава 2(Марк)

(от лица Марка)

Мир возвращался ко мне через глотку. В ней словно кто-то развел костер из старых покрышек: сухой, едкий жар обжигал небо, а язык казался распухшим куском наждачной бумаги, который намертво прилип к гортани. Я попытался сглотнуть, но вызвал лишь серию спазмов, отозвавшихся в затылке тупой, пульсирующей болью.

Я открыл глаза. Свет не был ярким — это был тусклый, липкий желтый полумрак, какой бывает в дешевых подсобках или старых подъездах. Зрение фокусировалось медленно. Первое, что я увидел прямо перед собой — стену. Она была покрашена до середины тошнотворно-зеленой масляной краской, которая местами вздулась от сырости, а выше начиналась грязно-белая, изъеденная серыми пятнами побелка.

Запах. Он ударил в ноздри следом за осознанием боли. Резкий, бьющий по рецепторам коктейль из хлорки, застарелого табачного дыма, мужского пота и чего-то сладковато-гнилостного, напоминающего переваренную до состояния клейстера капусту.

«Где я? Какая это больница?»

Мысль ворочалась в голове, как тяжелый камень. Я помнил Ferrari. Помнил ослепляющий свет фар. Удар. И тиши-

ну. Должно быть, меня вытащили. Должно быть, отец задействовал все связи и меня привезли в... Куда? В какую дыру меня могли привезти в Москве, чтобы здесь так воняло?

Я попытался повернуть голову. Шея отозвалась скрипом и резким уколом в основании черепа. Справа от меня стояла кровать. Еще одна. И еще. Вдоль стены тянулся ряд железных скелетов с панцирными сетками, которые провисали под тяжестью тел, укрытых одинаковыми колючими одеялами. На соседней койке спал старик. Его голова была замата-на грязным бинтом, через который проступило желтое пятно сукровицы, а изо рта вырывался мерный, натужный храп, переходящий в бульканье.

— Эй... — выдавил я. Мой голос прозвучал как хруст сухих веток.

Никто не отозвался.

Рефлекс, выработанный годами, сработал быстрее, чем включился мозг. Правая рука сама дернулась в сторону, к тумбочке. Там должен был лежать мой iPhone 15 Pro. Мне нужно было время. Мне нужно было набрать отцу. Или хотя бы Дэнчику.

Пальцы наткнулись на что-то холодное и липкое. Я скосил глаза. Вместо гладкого стекла и титанового корпуса рука нащупала край клеенки. Настоящей, мерзкой советской клеенки коричневого цвета, которой была застелена тумбочка — тяжелый железный ящик, покрашенный в десять слоев белой эмали. Краска на углах облупилась, обнажая ржавое нутро.

На тумбочке стояла эмалированная кружка с отбитым краем. В ней плавала какая-то мутная серая жидкость — то ли недопитый чай, то ли лекарство. Рядом лежала алюминиевая ложка, погнутая и тусклая.

— Что за... — прохрипел я, чувствуя, как по спине пополз холодный липкий пот.

Это не Москва. Это даже не провинциальная клиника 2024 года. В самой захудалой больнице Подмосковья сейчас есть хотя бы пластиковые стаканы и гребаный вай-фай. А здесь... здесь из всех технологий была только черная розетка в стене, из которой торчала вилка от какого-то доисторического прибора, похожего на пыточный инструмент.

Я посмотрел на свою руку, всё еще лежащую на клеенке.

Шок пробил меня до самого позвоночника. Это была не моя рука. Мои кисти были холеными, с длинными пальцами, которые никогда не знали ничего тяжелее теннисной ракетки или сенсорного экрана. Рука, которую я видел сейчас, была широкой, мощной, с короткими сбитыми ногтями. На костяшках темнели свежие ссадины, а под кожей проступала въевшаяся, несмываемая черная полоска мазута. Рабочая рука. Рука человека, который годами крутит гайки в масле.

«Нет. Это галлюцинация. Мозг умирает, и это просто предсмертный бред».

Я попытался зажмуриться, надеясь, что когда открою глаза, увижу белые панели частной палаты и улыбающуюся медсестру.

Раз. Два. Три.

Ничего не изменилось. Только старик на соседней койке перевернулся, заскрипев панцирной сеткой, и пробормотал во сне:

— Слышь, паря... не шуми. Дай поспать...

Его голос был реальным. До дрожи реальным. В палате было душно, в луче света, падающем из огромного окна с облупившейся деревянной рамой, танцевали миллиарды пылинок. Я чувствовал, как колется шерстяное одеяло, как давит на затылок жесткая, как камень, подушка, набитая пером.

Я поднял взгляд на потолок. Прямо над моей головой висел патрон на коротком огрызке провода, прикрытый пыльным стеклянным плафоном-таблеткой. А рядом, в углу, на гвозде висел календарь.

Маленький, отрывной календарь. Сверху была картинка — какой-то румяный мужик в каске на фоне кранов. А ниже... ниже буквы, которые окончательно выбили почву у меня из-под ног.

«МАЙ. 14. ПОНЕДЕЛЬНИК. 1978».

Мир вокруг меня поплыл.

1978? Это что, шутка? Пранк? Отец решил меня так проучить? Нанял массовку, нашел заброшенную больницу, передел всех в тряпье? Но как они изменили мои руки? Как они сделали этот запах — этот густой, невыносимый запах застоявшегося прошлого, который невозможно подделать?

Паника, настоящая, животная паника захлестнула меня. Я должен был встать. Сейчас же. Найти зеркало. Найти выход. Найти гребаного режиссера этого шоу и разбить ему лицо.

— Врача! — закричал я, но голос сорвался на хриплый лай. — Позовите врача!

Я попытался рывком сесть. Мозг отдал команду мышцам пресса и ног. Я напрягся, ожидая привычного рывка...

Ничего не произошло.

Я попробовал еще раз. Вложил в это движение всё свое желание, всю ярость. Плечи едва заметно дернулись, руки напряглись, впиваясь пальцами в дужки железной кровати, но нижняя половина тела...

Ниже лопаток я не чувствовал ничего. Вообще ничего.

Это было так, словно меня обрезали. Словно я заканчивался там, где начиналась поясница. Я видел свои ноги — две неподвижные горы под тяжелым синим одеялом. Я видел их, но они были чужими. Двумя огромными, безжизненными чугунными бревнами, которые просто лежали на матрасе.

— Нет... — прошептал я, и в этот раз голос дрогнул от ужаса, который я не испытывал никогда в жизни. — Нет! Пожалуйста!

Я начал неистово колотить руками по одеялу, пытаюсь нащупать свои бедра, колени. Я бил по ним, ожидая боли, ожидая хотя бы легкого покалывания. Но мои руки чувствовали только грубую шерсть одеяла, а ноги... ноги молчали.

— Эй, паря, ты чего? — старик на соседней койке окон-

чательно проснулся и сел, глядя на меня мутными глазами. — Контузило тебя, что ли? Лежи тихо, дежурная придет — всыплет.

— Позови врача! — я вцепился в бортик кровати так, что костяшки побелели. — Слышишь, дед? Позови врача! Я не чувствую ног! Слышишь? Где мой телефон?!

Старик посмотрел на меня с какой-то бесконечной, усталой жалостью.

— Какой еще телефон, болезный? Автомат в вестибюле, да кто ж тебя туда потащит... А врач будет утром. На обходе. Ты лежи, лежи... Все мы тут такие. Поломанные.

Я не слушал его. Я смотрел на стену напротив. Там, между двумя окнами, висел портрет. Черно-белый, в строгой рамке. Лысоватый человек с прищуром и бородкой смотрел на меня с плаката, а под ним была надпись: «ЛЕНИН — ЖИЛ, ЛЕНИН — ЖИВ, ЛЕНИН — БУДЕТ ЖИТЬ!».

В этот момент я понял.

Это не пранк. Никто не стал бы тратить миллионы, чтобы воссоздать этот запах хлорки и эту безнадегу в глазах старика. Я не в Москве. И я не Марк. По крайней мере, для этого мира.

Я посмотрел на свои руки — мозолистые, грязные, чужие. Посмотрел на неподвижные ноги.

Я мажор из 2024 года, у которого мир лежал в кармане вместе с золотой картой, теперь заперт в теле какого-то работорговца. В семьдесят восьмом году. Без ног. Без связи. Без бу-

дущего.

Где-то в коридоре загрели тележки. Слышался приглушенный женский смех и звук шаркающих тапочек. Жизнь в этом странном, застывшем времени продолжалась, не замечая моего краха.

Я закрыл глаза и впервые в жизни захотел просто исчезнуть. Потому что реальность, которая открылась мне, была страшнее любой смерти.

— Мама... — невольно вырвалось у меня.

Но я знал, что моя мама сейчас в Цюрихе. А здесь... здесь меня ждали только эти зеленые стены и неподвижные чугунные бревна вместо ног.

За окном проехала машина. Судя по надрывному реву мотора и лязгу — старый грузовик. Пыль на подоконнике вздрогнула.

Я был в 1978-м. И я был парализован.

Это был конец. Или самое начало ада.

Глава 3(Марк)

(от лица Марка)

Просыпаться в этом мире было всё равно что нырять в ледяную прорубь — каждый раз дух захватывало от шока, а легкие отказывались дышать этим тяжелым, спертым воздухом. Я открыл глаза, надеясь увидеть панорамное окно и шпиль «Федерации», разрезающий облака. Но увидел только ту же трещину на потолке. За ночь она не исчезла. Наоборот, она словно стала глубже, насмешливо изгибаясь в форме вопросительного знака.

В палате было шумно. Сосед справа, тот самый дед с забинтованной головой, с упоением шуршал газетой. Звук был такой, будто кто-то медленно раздирал мою черепную коробку пополам.

— Слышь, дед... — прохрипел я, не узнавая собственный голос. — Кончай шуметь. Вызови медсестру.

Старик даже не повернулся. Он только лизнул палец, слюняво перевернул страницу и пробормотал:

— Ишь ты, барин. Медсестру ему. Медсестра сейчас уколы разносит, не до тебя ей, Егорка. Ты газетку-то почитай, вон, в Узбекистане хлопок сверх плана дали. А ты всё «дай» да «подай».

Я закрыл глаза. Егорка. Это имя липло ко мне, как банный

лист, вызывая приступы тошноты. В моем мире так называли либо детей в рекламе каши, либо водителей-новичков.

Дверь палаты распахнулась с характерным грохотом — железная ручка ударилась о стену, выбив свежую порцию штукатурки.

— К Соколову пришли! — гаркнула дородная женщина в синем халате, которую я принял бы за охранника, если бы не косынка на голове. — Пять минут, не больше! У нас режим!

Я напрягся, насколько позволяло парализованное тело. В палату вошли двое. Они двигались робко, плечо к плечу, словно заходили в клетку к тигру.

Женщина была одета в странное ситцевое платье, поверх которого висела растянутая кофта ядовито-зеленого цвета. На голове — берет. Боже, я не видел беретов с тех пор, как уволил свою старую экономку. Он сидел на её голове как приклеенный блин, подчеркивая скорбное, изборожденное морщинами лицо. Мужчина за её спиной выглядел не лучше: серый пиджак с лоснящимися локтями, из-под которого виднелась рубашка с воротничком «собачьи уши». От него пахло так, что я невольно сморщился: смесью дешевого табака, мазута и чеснока.

— Егорюшка! — женщина всплеснула руками. Глаза у неё мгновенно покраснели, наполнившись слезами. — Родненький мой! Живой!

Она бросилась к кровати. Я хотел отодвинуться, но проклятая неподвижность впечатала меня в матрас. Её руки —

жесткие, сухие, с глубокими трещинами на пальцах — вцепились в мои ладони. Она пахла хозяйственным мылом и чем-то неуловимо старым, казенным.

— Люб, ну ты чего, — прогудел мужчина, кладя руку ей на плечо. — Сказали же доктора: пришел в себя. Значит, выкарабкается. Соколовская порода!

Он попытался улыбнуться, обнажая ряд неровных, желтоватых зубов. Я смотрел на них и чувствовал, как меня накрывает волна брезгливости, смешанная с паникой. Эти люди — мои родители? Эта женщина, которая выглядит на шестьдесят, хотя ей, судя по лору, едва за пятьдесят? Этот мужик, похожий на слесаря из ЖЭКа?

— Кто вы такие? — мой голос прозвучал как хруст сухого снега. — Где мой отец? Где Виктор Николаевич?

Они переглянулись. Женщина зажала рот краем кофты, сдерживая рыдание.

— Егорушка, сынок... это же я, мама Люба. А это отец, Виктор Степанович. Ты что же... совсем нас не признаешь? Доктор говорила, что память может... — она замолчала, не в силах договорить.

— Послушайте, Люба... или как вас там, — я попытался взять себя в руки, включив «режим босса». — Я не знаю, какой это социальный эксперимент, но он зашел слишком далеко. Я Марк. Марк Соколов. Мой отец — глава строительного холдинга в Москве. Позвоните ему. Просто наберите номер, он вам заплатит любые деньги. Купите себе новую

одежду, этот берет... — я запнулся, глядя на её искаженное горем лицо. — Просто дайте мне телефон.

Мужчина, Виктор Степанович, тяжело вздохнул. Он присел на край моей кровати — панцирная сетка жалобно скрипнула — и положил мне на лоб свою огромную, пахнущую маслом ладонь.

— Горячки нет. А в голове, видать, всё перепуталось, — он посмотрел на жену. — Ты, Люб, не плачь. Это он от лекарьств. Вон, гляди, Егор, я тебе газетку принес. Свежую. Ты же любил про технику читать.

Он протянул мне свернутый вчетверо лист бумаги. Газета «Правда». Я взял её чужими, грубыми пальцами. На первой полосе — портрет какого-то хмурого мужика в орденах и огромный заголовок: «ТРУДОВОЙ ПОЧИН СТРОИТЕЛЕЙ БАМА — В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ ПАРТИИ!».

Я перевел взгляд на дату в верхнем углу.

16 мая 1978 года.

Мир качнулся. Я вспомнил свой завтрак в прошлый четверг: авокадо-тост с яйцом пашот, ледяное просекко, блеск Москва-Сити за окном. Вспомнил мать в её безупречном костюме от Chanel, которая обсуждала покупку недвижимости в Лиссабоне. А теперь передо мной стояла женщина в берете и совала мне... что она мне совала?

— Гляди, Егорушка, — она суежилась, доставая из авоськи (настоящей сетчатой авоськи!) какие-то свертки. — Пи-

рожки с капустой, еще тепленькие. Я их в полотенце укутала. И яички вареные. Кушай, сынок, тебе силы нужны.

Она развернула серую бумагу. В ней лежали два серых вареных яйца, облепленных крошками газеты. От запаха домашних пирожков, жаренных на дешевом масле, меня едва не вырвало прямо на колючее одеяло.

— Я не ем это, — я оттолкнул сверток. — Где мой адвокат? Мне нужен консул! Я гражданин... — я осекся. Гражданин чего? Российской Федерации, которой еще нет? — Вызовите милицию! Я требую перевода в Москву, в Центральную клиническую больницу!

— Так мы и так в Горьком, сынок, — отец растерянно поскреб затылок. — Куда же еще? В Москву — это только по большому благу, если в министерстве кто... Ты успокойся. Мы вот со Степанычем договорились, он тебе инвалидное кресло достанет через завскладом. Хорошее, немецкое, из ГДР.

Инвалидное кресло. Из ГДР.

Я почувствовал, как внутри меня что-то лопается. Это был не просто шок, это была ярость. Ярость мажора, которому вместо VIP-ложи предложили место в плацкарте у туалета.

— Какое кресло?! Вы что, не понимаете?! — я сорвался на крик. В горле саднило, но я не мог остановиться. — У меня в Москве контракты! У меня Ferrari в хлам, но страховка покрое! Дайте мне телефон! Я куплю эту вашу больницу

вместе с вашим ГДР! Убирайтесь! Все убирайтесь!

Мать зашла в беззвучном плаче, закрыв лицо руками. Отец встал, его лицо окаменело.

— Ты, Егор, на мать-то не ори. Она три ночи у порога реанимации просидела. Совсем ты, Егор, умом тронулся от удара об асфальт.

Он взял её за локоть и потянул к выходу.

— Не приходите! — орал я им вслед, задыхаясь от собственной беспомощности. — Адвоката мне! Телефонистку! Слышите?!

Дверь палаты резко распахнулась, прерывая мой истеричный лай. Родители вздрогнули и замерли. На пороге стояла женщина.

Я замолчал, невольно заворуженный этим появлением. На фоне облупившихся стен и убогой казенной мебели она казалась существом из другого измерения. Высокая, с неестественно прямой спиной, в ослепительно белом, туго накрахмаленном халате. Её волосы цвета темного меда были убраны в строгий пучок, обнажая тонкую шею. Лицо — спокойное, почти неподвижное, с высокими скулами и холодными серыми глазами, которые смотрели на мир с пугающей пронизательностью.

Она не была похожа на тех тюнингованных кукол, что висели вокруг меня в Москве-Сити. В ней не было ни капли ботокса, ни грамма филлеров, но от этой естественной, строгой красоты веяло такой силой, что мне на секунду стало не

по себе. Она пахла ландышами. Тонкий, прохладный аромат мгновенно перебил вонь вареных яиц и дешевого табака.

— Граждане Соколовы, — её голос был низким и ровным, в нем слышался металл, не терпящий возражений. — Пожалуйста, подождите в коридоре. Егору нужен покой.

— Елена Сергеевна, он не в себе! — всхлипнула мать, прижимая к груди пустую авоську. — Бредит какими-то контрактами, кричит...

— Я вижу, Любовь Ивановна, — женщина мягко, но решительно коснулась плеча матери, подталкивая её к выходу. — Это реакция на тяжелую травму. Идите, попейте воды. Я сама с ним поговорю.

Отец кивнул, бросив на меня долгий, тяжелый взгляд, и вывел мать из палаты. Дверь закрылась со знакомым лязгом.

Я остался один на один с этой «ледяной леди». Она подошла к кровати и, не говоря ни слова, достала из кармана халата маленький фонарик.

— Слушай, ты, — я попытался вернуть себе прежнюю наглость, но под её взглядом голос почему-то дал петуха. — Скажи им, чтобы прекратили этот спектакль. Я Марк. У меня деньги, связи... Ты хоть понимаешь, что я могу с тобой сделать, если ты не дашь мне телефон?

Она даже не моргнула. Одной рукой она приподняла своё веко, светя фонариком прямо в зрачок. Её пальцы были прохладными и пахли чем-то аптечным.

— Зачем вы так с ними, Соколов? — тихо спросила она,

убирая фонарик. — Ваша мать три ночи провела на банкетке в коридоре, пока вы были в реанимации. А отец... он вчера сдал кровь, чтобы вам хватило для переливания. А вы их — адвокатами и Ferrari.

— Какие Соколовы?! — я дернулся, но парализованное тело лишь глухо отозвалось тяжестью в пояснице. — Я не Егор! Это какая-то ошибка! Портал, сбой в матрице, я не знаю! Сейчас две тысячи двадцать четвертый год, я в Москве...

Она отошла к окну и медленно повернула тяжелую ручку, распахивая створку. В палату ворвался шум улицы: надрывный рев автобуса «ЛиАЗ» и звонкий голос из репродуктора, объявляющий результаты соцсоревнования.

— Посмотрите на меня, Егор, — она вернулась к кровати и посмотрела мне прямо в глаза. В её взгляде не было жалости — только трезвый, жестокий реализм. — У вас тяжелый ушиб мозга и повреждение позвоночника. Мы три часа собирали вас на операционном столе.

— Я не Егор... — прошептал я, чувствуя, как холодный ужас сковывает горло.

— Вы Соколов Егор Викторович, тридцати лет от роду. Механик четвертого разряда. И сейчас шестнадцатое мая тысяча девятьсот семьдесят восьмого года. Посмотрите на свои руки, Егор. Это руки человека, который восстанавливает моторы, а не подписывает контракты.

Я посмотрел на свои широкие ладони со сбитыми костяш-

ками. В отражении оконного стекла я видел чужое, осунувшееся лицо со шрамом на брови.

— Вы в Советском Союзе, — продолжала она, и в её голосе прорезались стальные нотки. — И здесь нет ни адвокатов, ни «консулов», о которых вы кричали. Здесь есть только эта палата, ваши родители и я. И если вы не перестанете паясничать и хамить тем, кто вас любит, вы сгниете в этом инвалидном кресле быстрее, чем научитесь в нем сидеть. Понятно я выражаюсь?

Я молчал, задыхаясь от ярости и бессилия. Эта женщина... она не просто осадила меня. Она одним ударом выбила из-под меня остатки моей прежней реальности.

— Как тебя зовут? — выдохнул я, глядя на её безупречный белый халат.

— Для вас — Елена Сергеевна. Я ваш лечащий врач, — она поправила мне подушку. Движение было чисто профессиональным, лишённым нежности. — А теперь закройте рот, Соколов. Пейте воду и привыкайте. Это ваша новая жизнь. И другой у вас не будет.

Она развернулась и вышла из палаты, чеканя шаг. Запах ландышей еще долго висел в воздухе, смешиваясь с вонью больничной капусты, а я лежал и смотрел в потолок, понимая: мой мир окончательно рассыпался в прах. И эта холодная женщина в белом халате — единственная, кто знает, как собрать меня заново. Если я, конечно, позволю ей это сделать.

Глава 4(Елена)

(от лица Елены)

Смена началась в семь утра, когда город еще кутался в серое предутреннее марево, а воздух в открытую форточку ординаторской врвался, пропитанный запахом влажного асфальта и цветущей черемухи. Я привычным, почти автоматическим движением затянула тугий узел на затылке, заколов тяжелые пряди старыми костяными шпильками. Зеркало, потемневшее от времени и покрытое мелкими пятнами амальгамы, отразило женщину, которую я едва узнавала. Усталый взгляд, четкая, почти мужская линия губ и эта глубокая вертикальная складка между бровями — печать ответственности, которую я не снимала даже дома, засыпая под монотонное тиканье ходиков.

Я надела халат. Он был накрахмален до хруста, жесткий и белый, как броня. Мой единственный щит от чужой боли, крови и бессилия, которыми пропитаны стены третьей городской. Перед выходом я коснулась стеклянной пробки флакона «Серебристого ландыша». Тонкий, прохладный аромат на мгновение заглушил вездесущий, въедливый запах больничного хлора. Моя маленькая женская тайна в мире стерильных бинтов и суровых диагнозов.

— Елена Сергеевна, вы к шестой палате сегодня поосторожнее, — шепнула мне на посту Галочка, молодая медсест-

ра с вечно испуганными глазами. — Там Соколов из реанимации. Тот самый, что на «Яве» разбился. Очнулся и как с цепи сорвался. Кричит, какими-то заморскими фамилиями кидается. Говорят, рассудком тронулся, бедняга. Совсем родителей не признает.

Я молча кивнула, принимая из её рук картонную папку.

Соколов Егор Викторович. Тридцать лет. Механик четвертого разряда. Тяжелый компрессионный перелом, спинальный шок. В реанимации за него боролись три часа. Парень вытащил счастливый билет, оставшись в живых, но цена этого билета оказалась непомерной.

Подойдя к шестой палате, я услышала его голос еще из коридора. Он был хриплым, надрывным, в нем слышалась ярость человека, который привык, что мир прогибается под его весом при малейшем щелчке пальцев.

— ...адвоката мне! Шарля или консула! Слышите вы, колхозники?! — гремело за дверью. — Я Савицкий! Марк Савицкий! Я куплю это ваше ГДР вместе с вашим министерством! Где мой телефон?!

Я помедлила секунду, поправляя воротничок халата, и толкнула тяжелую дверь.

Зрелище было тяжелым. Простые, раздавленные горем люди — родители пациента — жались к стене. Мать в нелепом берете беззвучно плакала, отец стоял, окаменев от непонимания. А на кровати метался — насколько позволял пара-

лич — сам Егор.

Я видела его в операционной, под слепящим светом ламп, когда его лицо было залито кровью и дорожной пылью. Сейчас, отмытый и мертвенно-бледный, он выглядел иначе. Резкие скулы, породистый прямой нос, густые темные брови. Красивый мужчина. Даже слишком для простого работяги из автопарка. Но взгляд... В его глазах не было привычного для наших мест смирения перед бедой. Там горел огонь высокомерия и бешеного, почти звериного испуга.

— Граждане Соколовы, — я заговорила своим самым ровным, «ледяным» голосом. — Пожалуйста, подождите в коридоре. Егору нужен покой.

Я мягко, но решительно выпроводила родителей. Мать задела меня краем своей колючей кофты, и я кожей почувствовала её безнадежное, черное горе. Когда дверь закрылась, я осталась один на один с этим «буйным».

Он смотрел на меня так, будто я была прислугой, посмевавшейся войти без доклада.

— Слышь, ты, в белом, — выдохнул он, вцепляясь широкими пальцами механика в край казенной простыни. — Хватит ломать комедию. Сколько ты хочешь? Сто штук? Триста? У меня счета в Швейцарии, есть крипта, есть офшоры. Просто дай мне позвонить в Москву. Савицкий-старший всё решит. Он тебя в Германию на стажировку отправит, в «Шарите», хочешь? Золотом завалит, только вытащи меня из этого дурдома!

Я подошла к кровати, не выказывая ни удивления, ни страха. В моей практике бывало и не такое: люди от боли и шока называли себя и Гагариными, и маршалами.

— Соколов, — я достала фонарик и направила узкий луч ему в зрачки. Он попытался дернуться, но я стальной хваткой придержала его за подбородок. — У вас тяжелая контузия. Вы понимаете, о чем говорите? Какой «Савицкий»? Какая «крипта»? Вы хоть знаете, что за попытку подкупа должностного лица и незаконные валютные операции у нас полагается статья? Восемьдесят восьмая, «бабочка», если вы забыли. И фамилия ваша в паспорте — Соколов.

Он замер, глядя на меня со смесью ужаса и брезгливости.

— Какая статья? Какой Союз?! Сейчас май две тысячи двадцать четвертого года! Я Марк Савицкий! У меня Ferrari в хлам, но я живой! Понимаешь ты, тетка?! Куда вы меня привезли? Что это за декорации из фильмов про войну?

Я убрала фонарик. Зрачки реагировали правильно, но сознание... это не было похоже на обычный бред. В бреде люди видят тени, слышат голоса. Этот же описывал какой-то фантастический, пугающе детальный мир. Марк Савицкий... Имя звучало как псевдоним киноактера или фамилия крупного партийного чиновника из столицы. Но лицо... лицо было Егора.

— Послушайте меня внимательно, Соколов, — я села на край его кровати. От него пахло потом, несчастьем и чем-то

неуловимо чужим. — Сейчас шестнадцатое мая тысяча девятьсот семьдесят восьмого года. Вы — Егор Соколов. Механик. Вы разбились на мотоцикле у моста через Оку. И если вы не прекратите нести этот антисоветский бред про «офшоры» и «будущее», к вам придет не адвокат, а санитары из спецпсихиатрии. А с вашим поврежденным позвоночником это будет означать приговор.

Он вдруг посмотрел на свои руки — мозолистые, широкие, со сбитыми костяшками. Смотрел с таким отвращением, будто они принадлежали трупу.

— Это не мои руки... — прошептал он, и в его голосе впервые прорезалась не наглость, а детская, беспомощная мольба. — Это не моё тело. Где Марк? Где моя жизнь? Что вы со мной сделали?

Я вздохнула, чувствуя, как внутри шевелится давно забытое, запретное чувство жалости. Но я знала: жалость в нашем деле — худший советчик. Чтобы он выжил, он должен был принять реальность. Какой бы серой и бедной она ему ни казалась.

— Посмотрите в окно, Егор, — я указала на застекленную створку, за которой был виден фасад соседнего дома — Видите плакат на стене соседнего корпуса? «Планы партии — планы народа». Это ваша реальность. Другой не будет. У вас паралич нижних конечностей. Спинальный шок. И если вы хотите когда-нибудь встать с этой койки, вам придется забыть про своего «Марка Савицкого» и стать Егором. Тем

самым парнем, которого любят эти несчастные люди в коридоре.

Он вдруг рассмеялся. Это был жуткий, сухой смех, от которого по моей спине побежали мурашки.

— «Планы народа»... Обалдеть. Я попал в ретро-кошмар. Слышь, Елена Сергеевна, а пломбир по девятнадцать копеек уже завезли? Или вы тут только хлоркой кормите?

— Пломбир по двадцать копеек, Соколов. И он вам пока не положен. Диета номер один.

Я встала, поправляя халат.

— Я назначу вам седативное. И позову психиатра на консультацию. Хотя, судя по всему, у вас просто тяжелый травматический психоз, наложенный на скверный характер.

— Я не псих, — он вдруг схватил меня за запястье. Его хватка была неожиданно сильной, мужской. — Ты... ты единственная здесь кажешься реальной. Ты пахнешь ландышами. В моем мире так не пахнут. Там всё пахнет синтетикой и деньгами. Помоги мне. Я не хочу гнить в этом кресле. Я не хочу быть этим Соколовым!

Я медленно, палец за пальцем, высвободила руку. Его кожа была горячей, сухой.

— Помочь я вам могу только как врач, — я направилась к выходу. — Начните с того, что извинитесь перед родителями.

ми. Они не заслужили вашего яда.

Выйдя в коридор, я прислонилась спиной к прохладной побелке. Сердце колотилось в горле.

«Савицкий»... «Офшоры»... «Две тысячи двадцать четвертый год»...

Он смотрел на обычную авоську в руках матери так, будто это был неопознанный объект. Он не узнал запах «Явы».

— Елена Сергеевна, ну что там? — ко мне подошел зав отделением, Иван Петрович, поправляя свои тяжелые роговые очки. — Соколов совсем плох? Шизофрения на фоне травмы?

Я посмотрела на Ивана Петровича, потом на дверь шестой палаты.

— Нет, Иван Петрович. Не шизофрения. Травматический шок и глубокая дезориентация. Он уверен, что он какой-то «Марк Савицкий» из будущего.

Иван Петрович хмыкнул, доставая из кармана пачку «Беломора».

— Из будущего, говоришь? Ну, в будущем-то, небось, позвончики на раз-два лечат? Мазью помазал — и побежал? Эх, Егорка... Насмотрелся фантастики в журнале «Техника — молодежи».

— Он не Егор, — сорвалось у меня с губ раньше, чем я успела осечься.

— В смысле? — Иван Петрович замер с папиросой во рту.

— Ни в каком. Я пойду, у меня обход в третьей.

Я быстро пошла по коридору, чувствуя на себе недоуменный взгляд коллеги. В голове пульсировала фраза пациента: «В моем мире так не пахнут».

В его мире.

Я не верила в сказки. Я верила в костные мозоли, в проводимость нервных окончаний и в Лидский завод медицинских изделий. Но этот парень с руками рабочего и душой падшего принца Савицкого пробудил во мне что-то такое, что я давно заперла под замок.

Загадка. Страшная, невозможная загадка по имени Егор Соколов. И я понимала, что эта загадка либо разрушит мою карьеру, либо заставит меня снова поверить в то, чего в семьдесят восьмом году официально не существовало. Чудо. И, возможно, любовь.

Глава 5(Марк)

(от лица Марка)

Дребезжание металлической тележки в коридоре было моим персональным будильником. Каждое утро оно врывается в мой сон, как скрежет ножа по стеклу. Следом шел тяжелый, влажный шлепок половой тряпки о линолеум и едкий, выедающий глаза запах хлорки. Нянечка в безразмерном халате возила шваброй под кроватями, не особо заботясь о том, чтобы не задевать железные ножки. Каждый удар отзывался в моей голове тупым колокольным звоном.

Я лежал и смотрел на трещину в потолке. В 2024-м я бы уже через час после аварии летел спецбортом в Мюнхен или Тель-Авив. Лучшие нейрохирурги мира сражались бы за право прооперировать Савицкого-младшего. А здесь... Здесь моим единственным развлечением было наблюдать за тем, как солнечный зайчик медленно ползет по выкрашенной в «психиатрический» зеленый цвет стене, высвечивая слои наслоившейся за десятилетия краски.

Я снова попытался пошевелить пальцами ног. Сосредоточился так, что на лбу выступила испарина. Давай, Марк. Ты же всегда получал то, что хотел. Просто нажми на педаль. Просто сделай это.

Ничего. Глухо. Пусто. Ниже поясицы я заканчивался. Там была зона отчуждения, мертвая земля, не отвечающая

на сигналы командного центра. Мои ноги превратились в бесполезные чугунные балласты, которые только мешали дышать.

Дверь палаты распахнулась шире обычного. В проеме возникла группа людей в белых халатах. Шествие возглавлял персонаж, словно сошедший со страниц сатирического журнала. Плотный, с тяжелым подбородком и в роговых очках, которые держались на добром слове и толстой переносице. Халат на нем сидел мешковато, а из нагрудного кармана торчала пачка «Беломора».

Иван Петрович. Заведующий отделением. Хозяин этого хлорного царства.

Елена Сергеевна шла чуть позади. На фоне остальных врачей — помятых, заспанных, пахнущих дешевым табаком и вчерашним дефицитным коньяком — она казалась инопланетянкой. Всё тот же идеальный пучок, всё тот же хрустящий халат. Её взгляд скользнул по мне — холодный, профессиональный, как лезвие скальпеля. Я попытался поймать её глаза, найти в них хоть каплю того женского интереса, к которому привык Марк Савицкий, но наткнулся на ледяную стену.

— Ну-с, Соколов, — пробасил Иван Петрович, подходя к моей койке. От него пахло несвежим дыханием и старой бумагой. — Как наше ничего? Голова не кружится?

— Голова — это единственное, что у меня работает, шеф, — я постарался придать голосу максимум своей привычной

наглости. — Скажите своим ребятам, пусть готовят документы на выписку. Или перевод в ведомственную клинику. Мой отец...

Иван Петрович хмыкнул, не дослушав. Он бесцеремонно откинул край моего колючего одеяла. Я почувствовал укол стыда — не физический, а какой-то социальный. Меня, Марка Савицкого, осматривали как породистую, но безнадежно захромавшую лошадь.

Он достал из кармана длинную иглу.

— Смотри на меня, Егор, — велел он.

Я смотрел. Я видел, как игла впивается в кожу моего бедра. Глубоко. Слишком глубоко для обычного осмотра. Я видел, как вокруг прокола собирается капля крови. Но я ничего не чувствовал. Совсем. Это было как немое кино: картина есть, звука — ноль.

Иван Петрович повторил процедуру на голени, потом на ступне. Тот же результат. Он выпрямился, вытер вспотевший лоб ладонью и посмотрел на своих коллег.

— Проводимость нулевая. Спинальный шок перешел в стадию дегенерации. Рефлексы Бабинского отрицательные.

Он снова повернулся ко мне, поправляя очки.

— Послушай меня, парень. Мы тут не волшебники. Собирали тебя по кускам — и то ладно. Позвоночник у тебя теперь как старое корыто, склеенное клеем БФ. Ходить ты не будешь. Никогда.

Слово «никогда» упало в тишину палаты, как гильотина.

Сосед-старик перестал шуршать своей «Правдой» и замер.

— В каком смысле — никогда? — я почувствовал, как внутри начинает закипать ярость. — Вы хоть понимаете, кому вы это говорите? У меня в Москве контракты на миллиарды. У меня в гараже тачки, которые стоят больше, чем всё ваше министерство здравоохранения.

Иван Петрович вздохнул и переглянулся с Еленой Сергеевной. В его взгляде читалось усталое: «Опять началось».

— Послушайте, Иван Петрович, — я попытался сменить тактику, включив режим «деловых переговоров». — Давайте без этого пафоса. Я понимаю, дефицит, сложности. Я занесу вам в долларах. Сколько? Пятьдесят тысяч? Сто? Выпишите мне направление за границу. В Австрию или в Штаты. Я Савицкий, за мной стоят люди, которые...

Врачи за моей спиной негромко прыснули. Кто-то из молодых интернов прикрыл рот ладонью. Иван Петрович посмотрел на меня через свои роговые очки с такой смесью жалости и научного интереса, что мне захотелось ударить его. Если бы я мог.

— Слышь, Савицкий... или как там тебя, — зав отделением сложил руки на груди. — Ты эти сказки про доллары и штаты брось. Статья восемьдесят восьмая за валютные махинации — это тебе не ЛФК, там быстро научат родину любить. Доллары у него... Ты хоть знаешь, как они выглядят, доллары-то? В кино видел?

— Я знаю, как они пахнут, старик, — выдохнул я.

— Понятно, — Иван Петрович кивнул Елене Сергеевне.
— Елена Сергеевна, запишите: выраженная дезориентация, бред величия, галлюцинаторный синдром на фоне тяжелой ЧМТ. Нужно позвать консультанта из областной психиатрической. Пусть посмотрит нашего «миллионера». А пока — аминазин. Чтобы спал побольше и сказки не сочинял.

Они развернулись и пошли к выходу. Скрип их начищенных туфель по линолеуму звучал как марш победителей. Елена Сергеевна задержалась в дверях на секунду. Её взгляд задержался на мне — холодный, оценивающий. Она не смеялась. Она словно пыталась пробиться сквозь мой бред к чему-то настоящему. И от этого было еще больнее.

Когда дверь закрылась, я остался один. Стекланный потолок, о котором я раньше думал как о метафоре успеха, теперь стал реальностью. Только это был потолок моей беспомощности.

В 2024-м я был хищником. Здесь я был никем. Социальным нулем. Егором Соколовым, парализованным механиком из города Горького, у которого из собственности были только застиранная пижама и алюминиевая кружка. Все мои знания о будущем, о крипте, о схемах и тендерах здесь стоили меньше, чем пачка «Беломора» в кармане Ивана Петровича.

Я посмотрел на свою руку. Ту самую, мозолистую, с мозолями под ногтями. Она дрожала.

Дверь снова скрипнула. Тихо, осторожно.

В палату вошли «родители». Любовь Ивановна в своем вечном берете и Виктор Степанович в помятом пиджаке. Они двигались так, будто боялись меня спугнуть. Мать прижимала к груди узелок, от которого пахло свежим хлебом и вареной картошкой.

Раньше я бы заорал на них. Сказал бы, чтобы убирались со своим «нищевородским» хавчиком. Но сейчас...

Я смотрел на них и чувствовал дикий, парализующий страх. Эти двое незнакомцев, пахнущих заводом и дешевым мылом, были единственными людьми в этом странном, жестоком мире, которым было не плевать, дышу я или нет.

Если я сейчас их оттолкну, если включу своего «Савицкого», они уйдут. И тогда я останусь один на один с Иваном Петровичем, психиатром из области и аминазином. Я просто сгнию в этом инвалидном кресле, которое мне «достанут по благу».

— Егорушка, — прошептала мать, присаживаясь на краешек стула. — Мы тут с отцом... вот, котлеток принесли. И компот из сухофруктов. Ты поешь, сынок. Доктора говорят, ходить не будешь, так мы... мы же рядом. Мы домик в деревне продадим, кресло тебе купим самое лучшее. Сдюжим, сынок. Главное — живой.

Виктор Степанович кивнул, его кадык тяжело дернулся.

— Ты не слушай их, Егор. Врачи — они народ такой, им бы напугать. Ты парень крепкий. Главное — руки на месте. В гараже всегда работа найдется...

Я закрыл глаза. Комок в горле мешал дышать. Я, Марк Савицкий, который никогда никого не благодарил, сейчас чувствовал, как внутри что-то ломается. Моя броня из цинизма и золотых карт рассыпалась, обнажая испуганного пацана, который не знал, как жить дальше.

— Спасибо, — выдавил я. Голос был чужим, хриплым. — Мам... пап... Спасибо.

Мать вскрикнула и прижала платок к глазам. Отец положил свою тяжелую, пахнущую мазутом руку мне на плечо.

Я лежал в этом проклятом семьдесят восьмом году, в теле чужого парня, без ног и без будущего. И впервые в жизни я понял, что такое настоящий страх. Страх потерять тех, кого ты еще вчера не считал за людей.

За окном издевательски бодро прогудел тепловоз, унося кого-то в ту жизнь, которой у меня больше не было. А я просто сжал руку отца, вцепляясь в неё, как в единственную соломинку над пропастью.

Глава 6(Елена)

(от лица Елены)

Ключ в замочной скважине повернулся с натужным, сухим скрежетом. Этот звук всегда действовал на меня как сигнал к окончанию боя: можно было наконец опустить плечи и снять маску «Доктора Глыбы», за которой я пряталась десять часов кряду.

В прихожей пахло привычно и до боли знакомо: старыми книгами, подсохшим воском обувного крема и едва уловимым ароматом жареного лука — это соседка со второго этажа, тетя Катя, снова готовила свой бесконечный минтай. Моя «двушка» в кирпичной пятиэтажке была тихой и тесной, заставленной мебелью, которая помнила еще мои студенческие годы.

— Мам? Это ты? — из комнаты выбежала Алёнка.

Ей было восемь, но она казалась младше — тоненькая, бледная, с огромными глазами, в которых застыла какая-то недетская серьезность. Она сразу уткнулась носом в мой накрахмаленный халат, который я несла на локте.

— Тише, егоза, раздавишь, — я поцеловала её в макушку. Волосы Алёнки пахли детским мылом и пылью. — Как ты? Опять кашляла?

— Немножко, — она шмыгнула носом и заглянула в мою сумку. — А апельсинов не было? Ты обещала...

Я замерла, чувствуя, как внутри всё сжимается от глухой, бессильной ярости. Апельсины. В мае семьдесят восьмого их нужно было «ловить» в центральном гастрономе, выстаивая часовую очередь, а у меня после обхода и этого безумного консилиума не было ни сил, ни времени. А в кошельке после оплаты коммуналки и детской секции оставалась пара трешниц до зарплаты.

— Завтра, солнышко. Завтра обязательно достану.

Я прошла на кухню и включила свет. На потолке тускло загорелась люстра с тремя стеклянными рожками, один из которых был разбит. Кран над раковиной мерно ронял капли: кап... кап... кап... Этот звук выбивал ритм моей жизни — одинокой, скудной, расписанной по минутам между больницей и бытом.

Я наполнила чайник, и пока он закипал, мои мысли снова вернулись в больничные коридоры. Точнее, в кабинет главврача Олега Петровича Галкина.

Он вызвал меня перед самым уходом. Галкин — человек с масляными глазками и идеально выглаженным воротничком — никогда не говорил прямо. Он любил намеки.

«Елена Сергеевна, вы — специалист золотой. Но... негибкий. А в наше время нужно уметь маневрировать. Вот, к примеру, жалоба на вас поступила. Будто вы с пациентами холодны, нормы этики нарушаете...».

Я знала, о чем он. Месяц назад я отказалась пойти с ним в ресторан «Волга», а потом недвусмысленно дала понять,

что его рука на моем бедре — это повод для пощечины, а не для карьерного роста. И теперь Галкин медленно, но верно выживал меня. Перевод в область, в сельскую амбулаторию, где из инструментов только зеленка и доброе слово — это было вопросом времени. А Алёнка... с её слабыми легкими и бесконечными бронхитами, она не выживет в деревне. Ей нужны витамины, спецшкола и лекарства, которые я иногда покупала у фарцовщиков за тройную цену.

Чайник засвистел. Я налила кипяток в треснувшую кружку с синими цветами.

В дверь постучали. Негромко, но настойчиво.

— Кто это, мам? — Алёнка выглянула из комнаты.

— Иди к себе, зайка. Наверное, соседи.

Я подошла к двери и глянула в глазок. На лестничной клетке, под тусклой лампочкой, стояли двое. Родители того самого парня. Егора Соколова. Савицкого.

Я открыла дверь.

Виктор Степанович стоял, сжимая в руках помятую кепку. Его широкие ладони механика всё еще хранили следы мазута, несмотря на то, что он, видимо, пытался отмыться. Любовь Ивановна прижимала к груди тяжелую дерматиновую сумку. Глаза у неё были красные, опухшие.

— Елена Сергеевна... Вы простите, что мы вот так, домой... — начал отец. — Мы в справочной адрес узнали. Не сердчайте.

— Заходите, — я отступила в сторону.

Они прошли на кухню, оглядываясь с какой-то робкой надеждой. Я видела, как они оценивают мою обстановку: облезлые табуретки, пожелтевшие обои. Это их подбодрило — они поняли, что я живу ненамного богаче их самих.

— Иван Петрович сказал... — Любовь Ивановна шмыгнула носом, присаживаясь на край стула. — Сказал, что Егорушка наш... безнадежный. Что кресло — это предел. И что в голову ему пуля попала, будто он про будущее бредит.

Я молча поставила перед ними чашки.

— Елена Сергеевна, вы — Глыба. О вас в больнице все так говорят, — Виктор Степанович посмотрел мне прямо в глаза. Взгляд у него был тяжелый, как у человека, который привык биться лбом в закрытые двери. — Мы видели, как вы на него смотрели. Вы не как другие. Вы в нем человека видите, а не инвалида.

— Егор в очень сложном состоянии, — я села напротив. — У него не только физическая травма. У него глубокая психологическая дезориентация. Он уверен, что он — другой человек. Марк Савицкий.

— Да хоть Наполеон! — мать вдруг всплеснула руками. — Лишь бы жил! Лишь бы встал! Мы... мы всё понимаем. Иван Петрович его выпишет через неделю, а там — только дома лежать да пролежни считать.

Виктор Степанович медленно полез во внутренний карман пиджака. Достал сверток, обернутый в старую газету, и сберегательную книжку. Положил на стол, прямо рядом с са-

харницей.

— Тут всё, Елена Сергеевна. Всё, что за двадцать лет скопили. На книжке — две тысячи. И налом — восемьсот. И машина... я «Москвич» свой продал сегодня. Председатель гаражного кооператива давно на него зарился.

Я смотрела на эти деньги и чувствовала, как внутри всё переворачивается. Три тысячи рублей. Почти цена «Жигулей». Моя зарплата за три года. Эти люди отдавали последнее. Свою старость, свой покой, свою жизнь — за призрачный шанс поставить на ноги сына, который сегодня орал на них, называя «колхозниками».

— Вы понимаете, что я не имею права брать эти деньги? — мой голос дрогнул. — Это частная практика. В нашей стране за это...

— А мы никому не скажем, — перебил отец. Голос его стал стальным. — Вы будете приходить к нам домой. После смены. Помогите ему, Елена Сергеевна. Мы знаем, что у вас тоже... несладко. Алёнка ваша...

Я вздрогнула. Значит, и об Алёнке узнали. Наверняка медсестры разболтали.

В соседней комнате Алёнка зашлась в сухом, лающем кашле. Я замерла, считая удары сердца. Кашель затих, сменившись тяжелым сопением. Ей нужны были ингаляторы из Москвы. Ей нужен был санаторий в Крыму. И фрукты. Много фруктов.

А Галкин... Галкин на следующей неделе подпишет при-

каз о моем переводе. Если я не сделаю что-то.

Я посмотрела на деньги на столе. Три тысячи. Это была свобода. Это была возможность уйти из больницы самой, хлопнув дверью, и посвятить себя частному случаю, который меня заинтриговал.

Вспомнила взгляд Соколова. Этот его безумный, породистый взгляд Марка Савицкого. Он был хамом, мажором, циником — даже в чужом теле. Но он был живым. Больше, чем все остальные мои пациенты.

— Послушайте меня внимательно, — я медленно положила ладонь на сверток с деньгами. — Я возьмусь за Егора. Но у меня есть условия. Жесткие.

Родители подались вперед, затаив дыхание.

— Первое. Дисциплина будет железной. Он не должен знать, что я беру деньги. Для него я — врач, который приходит потому, что так нужно.

Второе. Если он позволит себе хоть одно грубое слово в мой адрес, если он сорвет хоть одно занятие или начнет капризничать — я уйду в ту же секунду. И деньги не возвращаются.

И третье. Никто. Никогда. Не должен знать о наших занятиях. Для всех соседей я — ваша дальняя родственница, которая помогает за больным. Согласны?

— Согласны, Елена Сергеевна! — Любовь Ивановна схва-

тила мою руку и прижала её к своей мокрой от слез щеке. — Слава богу! Спасибо вам!

— Рано благодарить, — я сухо убрала руку. — Шансов один на сто. Но я попробую. Выписывайте его. Через три дня я приду к вам.

Когда за ними закрылась дверь, я долго стояла в прихожей, привалившись спиной к косяку. В руках я сжимала пачку денег. Три тысячи рублей. Плата за мою совесть. Или за моё спасение.

Я знала, что иду на преступление — и профессиональное, и государственное. Но еще я знала, что этот Марк Савицкий, запертый в теле советского механика, — мой единственный шанс не сломаться самой.

За окном в майских сумерках цвела черемуха, её тяжелый, дурмящий запах проникал даже сквозь закрытые рамы. Я смотрела на свои руки — руки врача высшей категории — и понимала, что с этой секунды моя жизнь принадлежит не мне. А ему. Хаму из будущего, который даже не догадывается, какую цену за него заплатили.

— Ну что, Савицкий... — прошептала я в пустоту кухни. — Посмотрим, чего стоит твоя спесь против моей воли.

Я спрятала деньги в старую банку из-под чая «со слоном» и пошла в комнату к дочери. Алёнка спала, раскинув руки, её дыхание было свистящим. Я поправила одеяло и села рядом.

Ну что ж, придется работать в две смены.

Теперь у меня был Егор. Мой личный вызов. Мой билет в новую жизнь. И моя самая большая тайна, пахнущая ландышами и больничной безнадегой.

Глава 7(Марк)

(от лица Марка)

Скрип колес больничной каталки по выщербленному линолеуму напоминал скрежет зубов. Каждое сочленение плит, каждая выбоина отдавались в моем позвоночнике глухими, ватными ударами. Я лежал на спине, глядя, как мимо пролетают серые плафоны-таблетки, и чувствовал себя экспонатом в музее забытых вещей.

Иван Петрович даже не вышел попрощаться. Махнул рукой из ординаторской, не отрываясь от заполнения каких-то бесконечных ведомостей. Для него я был закрытой главой, неудачным экспериментом природы, который больше не представлял научного интереса.

Елены Сергеевны тоже не было. Галочка, шмыгая носом, шепнула, что та «уволилась по собственному». Я воспринял это как личное предательство. В моем мире люди не увольнялись просто так — они переходили на более высокие оклады или уезжали в Майами. Здесь же её уход означал одно: последняя ниточка, связывавшая меня с чем-то похожим на смысл, оборвалась.

— Давай, Степаныч, принимай груз! — гаркнул кто-то на улице.

Меня выкатили на крыльцо. Я зажмурился от резкого майского света. Воздух был полон пыли и тяжелого запаха

сирени, которая буйствовала в больничном саду. У подъезда, надсадно кашляя сизым дымом, стоял грузовик. Старый, обшарпанный ГАЗ-52 с брезентовым тентом.

Я ждал реанимацию. Ну, хотя бы «буханку» с красным крестом. Но вместо этого меня встретил кузов, застеленный парой грязных матрасов.

— Ты серьезно? — прохрипел я, глядя на Виктора Степановича. — Ты хочешь везти меня в этом... контейнере?

Отец, одетый в свой парадный, лоснящийся на локтях пиджак, виновато отвел глаза.

— Егорушка, так в автопарке договорился... Свои же. Солярку списали, мужики помогли. Скорая-то — она только по району, а нам через весь город. Потерпи, сынок. Матрасы мягкие, Люба из дома принесла.

Меня переложили на носилки. Двое санитаров, пахнущих перегаром и несвежим бельем, небрежно закинули меня в кузов. Каждый толчок прошивал тело током, напоминая о том, что ниже лопаток я теперь — просто кусок нечувствительного мяса.

Грузовик тронулся.

Это было самое унижительное путешествие в моей жизни. Я лежал на вонючем матрасе, глядя в щель между бортами и брезентом. Мимо проплывал город Горький образца семьдесят восьмого года. Серые пятиэтажки, бесконечные заборы с лозунгами «Миру — мир!», очереди у желтых квасных бо-

чек. Люди в одинаковых серых и коричневых куртках провожали грузовик равнодушными взглядами.

В 2024-м я смотрел на мир через панорамное стекло Ferrari. Здесь я видел его через дыру в пыльном брезенте, подпрыгивая на каждой кочке так, что внутренности скручивались в узел. Я был не Марком Савицким. Я был «грузом 200», который еще почему-то дышал.

Грузовик затормозил так резко, что я едва не скатился с матраса.

— Приехали! Выгружай!

Тент откинули. Я увидел типичный двор-колодец. Пыльные каштаны, бельевые веревки, натянутые между деревьями, и стайка старушек на лавочке у подъезда. Они мгновенно замолкли, уставившись на меня с тем жадным, нездоровым любопытством, которое бывает только у тех, кому нечего терять.

— Гляди-ка, Соколова привезли... Живой всё-таки.

— Ишь, бледный какой. Не жилец, поди.

— Молчи, старая! Накликаешь...

Виктор Степанович и двое соседей-работяг взялись за носилки. Один из них, Михалыч — мужик в растянутой майке-алкоголичке и с татуировкой «ГСВГ» на предплечье, смачно сплюнул под ноги и ухватился за край.

— Ну, Егорша, держись. Лифта у нас отродясь не было,

так что на ручном приводе пойдем.

Они понесли меня. Пятый этаж хрущевки. Для здорового человека — разминка. Для меня — круги ада.

Подъезд встретил запахом кошачьей мочи, жареной рыбы и вечной сырости из подвала. Стены, выкрашенные до половины казенной синей краской, казались липкими. На каждом пролете носилки опасно кренились. Я вцеплялся пальцами в брезент, чувствуя, как у соседей сбивается дыхание.

— Твою мать, Егор, ну и разъелся ты на казенных харчах, — пропыхтел второй сосед, хмурый Санек.

— Тише ты, — шикнул отец. — Ему больно.

Мне не было больно в ногах. Мне было больно в душе. Каждая ступенька, каждый удар носилок о перила вбивали в меня осознание: это и есть моё новое дно. Здесь нет элитных лифтов с зеркалами и мягкой подсветкой. Здесь есть только вонючий подъезд и потные мужики, которые тащат тебя на пятый этаж, как старый диван.

Квартира Соколовых встретила меня запахом пережаренного лука и какой-то затхлости. Узкий коридор, в котором носилки едва развернулись, задевая углами вешалку с облезлыми пальто.

— Сюда, сюда несите! — Любовь Ивановна суетилась, распахивая дверь в мою... в комнату Егора.

Меня переложили на кровать. Панцирная сетка жалобно скрипнула и прогнулась до самого пола. Я выдохнул, чув-

ствуя, как липкий пот стекает по спине.

— Ну вот, дома ты, Егорушка, — мать присела на край, пытаясь погладить меня по волосам. Я дернул головой, отстраняясь.

Я осматривал свою новую клетку. Комната была крошечной. На стене висел ковер с изображением оленей у ручья — шедевр советского китча, от одного взгляда на который у меня начиналась чесотка. Массивный лакированный шкаф, который здесь называли «стенка Хельга», занимал почти всю стену. За стеклом тускло поблескивали хрустальные рюмки и стояли томики «Большой Советской Энциклопедии».

В углу — стол, заваленный какими-то деталями, гайками и старыми журналами «За рулем». Над столом — плакат с портретом Высоцкого.

— Егор, я тебе щи согрела, — Любовь Ивановна смотрела на меня с такой заискивающей нежностью, что мне хотелось закричать. — Поешь, сынок. Домашнее-то, оно всегда лучше.

— Я не хочу есть, — отрезал я, глядя в окно.

Там, за пыльным стеклом, был виден серый двор, детская площадка с облупившейся железной ракетой и бесконечные ряды точно таких же серых домов. Никакого неона. Никаких вывесок. Только белье на веревках, лениво хлопающее на ветру.

Отец зашел в комнату, неловко пряча за спиной эмалированное судно.

— Егор, ты это... если приспичит, зови. Мы со Степановой подсобим. Не стесняйся, свои же.

Я закрыл глаза. Вспышка ярости была такой сильной, что потемнело в глазах. Я, Марк Савицкий, у которого в пентхаусе был «умный» унитаз с подогревом и музыкой, теперь зависел от этого мужика в поношенном пиджаке и эмалированной «утки».

— Уйдите, — выдохнул я. — Пожалуйста. Все уйдите.

Они переглянулись. Мать хотела что-то сказать, но отец взял её за руку и вывел из комнаты. Дверь закрылась, но я слышал каждое их слово на кухне. Звукоизоляция в хрущевке была такой же мифической, как и «светлое будущее».

— Ничего, Витя, — шептала мать. — Отойдет. Тяжело ему. Главное — Елена Сергеевна обещала прийти. Денег-то сколько отдали...

— Молчи, Люба. Не дай бог он узнает. Гордый он, Егор-то. Весь в меня.

Я лежал, глядя на оленей на ковре. Значит, Елена Сергеевна придет. Они купили её. Мой «несокрушимый» врач тоже оказалась продажной. Впрочем, чему я удивлялся? В этом мире, как и в моем, всё имело свою цену. Только здесь валюта была другой — помятые рубли, отложенные на «черный день».

Чтобы отвлечься от липких мыслей, я дотянулся до ящика тумбочки. Рука слушалась плохо, но я всё же смог выдвинуть

его. Внутри был склад всякого хлама: старые свечи зажигания, квитанции из сберкасс, пачка папирос «Беломор».

Под стопкой журналов я нащупал что-то твердое. Потрепанная тетрадь в серой обложке.

Я открыл первую страницу. Почерк был небрежным, размашистым. Почерк человека, который никуда не торопится и никого не уважает.

«24 марта. Опять мать заначку спрятала. Думает, не найду. Нашел в банке с мукой. Взял десятку, пошли с пацанами в "Яму", взяли три портвейна. Мать ныла вечером, я ей угрозил — быстро заткнулась. Витька-сосед на новую "Яву" копит, дурак. Я свою завтра переберу и на танцы в парк. Светик из общаги обещала дать, если джинсы достану...»

Я листал страницы, и холодный ком в желудке становился всё больше.

«12 апреля. Старик опять лезет с нравоучениями. Труженик тыла, блин. Сказал ему, чтобы шел на хрен со своими медалями. Он за сердце схватился. Пофиг. Достал польский магнитофон, теперь я первый парень на районе».

«5 мая. Завтра гонки. За мостом, на трассе. Если выиграю, Витька отдаст мне свои импортные кроссовки. Достало всё. Нищета эта, ковры, щи... Хочу в Москву, там фарцовщики по-крупному крутят. А эти двое пусть гниют в своей хрущевке».

Я захлопнул тетрадь. Руки мелко дрожали.

Егор Соколов не был просто механиком. Он был подон-

ком. Мелким, трусливым домашним тираном, который обкрадывал родителей и презирал их за их честность и бедность.

И теперь я — в его теле. В его кровати. И эти люди, которые отдали последние деньги, чтобы меня спасти, любят не меня. Они любят эту тварь, надеясь, что авария его «исправила».

А я... я посмотрел на свои неподвижные ноги.

Я не просто калека. Я — наследник ненависти. И если я когда-нибудь встану, мне придется не только учиться ходить, но и разгребать ту кучу дерьма, которую оставил после себя прежний владелец этого тела.

Из кухни донесся запах горелой картошки и тихий всхлип матери. Радио на тумбочке бодро заиграло «Марш энтузиастов».

— Добро пожаловать домой, Савицкий, — прошептал я, закрывая глаза. — Это твой персональный ад. И олени на стене — только начало.

Глава 8(Елена)

(от лица Елены)

Подъезд встретил меня привычным запахом влажной побелки и застарелой кошачьей мочи. Ступени были узкими, выщербленными по краям, а перила — липкими от многолетней пыли. Пятый этаж без лифта всегда был для меня своеобразным тестом на профпригодность: если на последнем пролете дыхание сбивается, значит, пора больше времени уделять собственной гимнастике, а не только чужой.

Сумка с инвентарем — тяжелая, кожаная, с острыми углами — немилосердно оттягивала плечо. Внутри глухо позвякивали стеклянные флаконы со спиртом и маслом для массажа, шуршали эластичные бинты и резиновые жгуты. Я остановилась на четвертом этаже, чтобы перевести дух. Из-за двери сорок восьмой квартиры доносился приглушенный звук телевизора: диктор бодро рапортовал о достижениях металлургов.

Я поправила воротник легкого пальто и пригладила выбившиеся из узла волосы. Сегодня на мне не было халата, и я чувствовала себя странно незащищенной. словно броня осталась в больничном шкафчике, а здесь, в этом чужом подъезде, я была просто женщиной, идущей на сделку, которая могла стоить мне карьеры.

Дверь Соколовых открылась еще до того, как я успела на-

жать на кнопку звонка. Видимо, меня ждали у глазка.

— Елена Сергеевна! Проходите, проходите скорее, — Любовь Ивановна чуть не силой затащила меня в прихожую.

Она выглядела изможденной. На ней был застиранный домашний халат, а руки она то и дело вытирала о передник, хотя они и так были сухими. В глубине коридора, у двери на кухню, замер Виктор Степанович. Он кивнул мне — молча, тяжело, как человек, который привык нести свою ношу без лишних слов.

— Как он? — шепотом спросила я, снимая пальто.

— Огрызается, — так же шепотом ответила мать. — Почти не ест. Всё в потолок смотрит. Или тетрадку какую-то читает, Егоркину старую... Мы ему про вас сказали, что, мол, родственница дальняя, из области, заехать обещала. Не знаем, поверил ли...

Я повесила пальто на шаткую вешалку-рога. В прихожей пахло жареной рыбой и чем-то кислым.

— Помните о нашем уговоре, — я посмотрела Любове Ивановне прямо в глаза. — Никакой жалости при мне. Если я увижу, что вы начинаете причитать, я прерву занятие. Ему сейчас не слезы ваши нужны, а жесткая рука.

Она покорно кивнула, шмыгнув носом.

Я взяла сумку и направилась к двери в комнату Егора. С каждым шагом я чувствовала, как внутри меня выстраивается та самая ледяная стена, которую коллеги называли «Глыбой». Это была профессиональная деформация, мой способ

выживания. Чтобы лечить такие травмы, нужно на время перестать видеть в пациенте человека и начать видеть в нем механизм, который нужно починить.

Я толкнула дверь.

В комнате было сумрачно и душно. Шторы были задернуты, в воздухе висела тяжелая взвесь пыли и лекарств. Егор лежал на спине, уставившись в потолок. Знаменитый ковер с оленями над его кроватью казался в этой полутьме злоевающим: рогатые звери словно приготовились прыгнуть на парализованного парня.

На тумбочке рядом с эмалированной кружкой лежала обшарпанная тетрадь в серой обложке. Заметив меня, он не шевельнулся, только глаза — злые, лихорадочно блестящие — медленно переместились на мою фигуру.

— О, явилась, — выдохнул он. Голос был хриплым, но в нем отчетливо слышалась та самая наглость, которую я надеялась оставить в больнице. — Родственница из области, значит? Плохо играете, Елена Сергеевна. У моих «предков» на лице написано, что они купили твой визит за все свои гробовые.

Я прошла к окну и резким движением раздвинула шторы. В комнату ворвался безжалостный дневной свет, высвечивая каждую соринку на полу и облупившуюся краску на подоконнике.

— Форточку надо открывать, Соколов. В этом склепе даже здоровый задохнется, — я повернулась к нему. — И не

льстите себе. Ваши родители купили не мой визит, а ваш шанс не сгнить в этой кровати через год. Разницу улавливаете?

Он усмехнулся, и эта усмешка на его бледном лице Савицкого выглядела пугающе.

— Какая принципиальность... — он картинно, насколько позволяли руки, приподнял бровь. — И сколько нынче стоит совесть «Доктора Глыбы»? Пятьсот рублей? Тысяча? В моем мире, Леночка, такие как ты называются «обслуживающим персоналом». И ведут себя потише, когда хозяин в плохом настроении.

Я поставила сумку на стул и начала медленно закатывать рукава своей кофты.

— В вашем мире, Савицкий, возможно, вы и были хозяином. Но здесь вы — Соколов Егор, инвалид первой группы с перспективой пролежней и атрофии мышц. И хозяин здесь сейчас — я. Потому что только я знаю, как сделать так, чтобы вы когда-нибудь смогли сами дойти до туалета.

— Грязно шутишь, доктор, — он сощурился. — Тебе не идет. Ты же у нас вся такая... ландышевая. Непорочная. А сама берешь деньги у работяги, который «Москвич» продал, чтобы ты тут своими ручками мои ноги мяла. Не жмет нигде под халатом?

Я замерла на секунду. Его слова жалили, попадая точно в цель, в ту самую «делку с совестью», которую я заключила ради Алёнки. Но я не позволила мускулу дрогнуть на лице.

— Закончили с выступлениями? — я подошла к кровати и бесцеремонно откинула одеяло.

Егор попытался прикрыться рукой, но я перехватила его запястье. Хватка у меня была тренированная, мужская.

— Убери лапы, — прошипел он. — Я не давал согласия.

— Ваше согласие лежит в банке из-под чая, Соколов. Теперь работаем.

Я начала с пассивной гимнастики. Взяла его правую ногу — тяжелую, неподвижную, как бревно — и начала медленно сгибать её в колене. Я чувствовала, как сопротивляются ткани, как связки, не получающие сигналов от мозга, протестуют против движения.

— Больно? — спросила я, глядя ему в лицо.

— Мне... плевать, — он стиснул зубы. На лбу выступили капли пота. — Ты просто делаешь свою работу, так делай её молча. И не смотри на меня так, будто я твоя любимая болонка.

— Вы не болонка. Вы гораздо капризнее.

Я продолжала вращать его стопу. Методично, жестко. В какой-то момент его тело отозвалось спазмом — мышца на бедре дернулась. Для врача это был хороший знак, но Марк воспринял это как личное оскорбление.

— Слышь, Сергеевна... — он вдруг перешел на личности, явно пытаясь ударить побольнее. — А ты ведь поэтому такая ледяная, да? Мужика нормального нет, вот и отрываешься на калеках? Сколько тебе лет, тридцать пять? Для этого вре-

мени ты уже старая дева. Неудивительно, что ты за рубли продаешься. В моем мире ты бы даже в эскорт не прошла — слишком много гонора и слишком мало лоска.

Я остановилась. Мои пальцы всё еще сжимали его щиколотку. В комнате стало так тихо, что было слышно, как на кухне Любовь Ивановна гремит тарелками.

— Закончили? — тихо спросила я.

— Нет, не закончили! — он вдруг сорвался на крик, в котором сквозило отчаяние, прикрытое злобой. — Ты думаешь, ты лучше меня? Ты такая же! Просто ты нашла способ заработать на чужом несчастье, прикрываясь клятвой Гиппократ. Ты нищевродка, Елена Сергеевна. И душой, и кошельком. Ты просто... дешевка в белом халате.

Я медленно отпустила его ногу. Она глухо упала на матрас.

Внутри меня что-то оборвалось. Я могла терпеть бред про будущее, могла терпеть хамство пациента, но я не могла позволить топтать то единственное, что у меня осталось — моё профессиональное достоинство. Перед глазами на мгновение встала Алёнка, её кашель, её бледное личико... И тут же образ Галкина с его масляными руками.

Я поняла, что если сейчас не уйду, то сама превращусь в ту «дешевку», о которой он говорит.

Я подошла к стулу и начала быстро, методично складывать вещи в сумку. Флакон с маслом, жгуты, тетрадь для записей. Щелчок замка прозвучал как выстрел.

— Эй, ты чего? — в голосе Марка впервые прорезалась неуверенность. — Я еще не разрешал заканчивать.

Я выпрямилась и посмотрела на него. В моем взгляде не было ярости — только выжженная пустыня.

— Вы ничего не решаете в этой комнате, Соколов. Вы забыли наше главное условие. Я предупреждала: одно грубое слово — и я ухожу. Вы потратили свое право на реабилитацию на дешевые оскорбления.

— Да ладно тебе, — он попытался усмехнуться, но губы дрогнули. — Обиделась? Деньги-то не пахнут, вспомни...

Я надела пальто, не глядя в его сторону.

— Деньги пахнут, Марк. Они пахнут мазутом с рук вашего отца и слезами вашей матери. И я не позволю вам смешивать их с грязью.

Я вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. В прихожей на меня выскочили родители.

— Елена Сергеевна? Что случилось? Уже всё? — Любовь Ивановна испуганно заглядывала мне в лицо.

— Занятия окончены, — я снимала пальто с вешалки, руки слегка подрагивали, но голос был тверд. — Ваш сын считает, что он может покупать не только мой труд, но и моё достоинство. Я предупреждала. Завтра меня не ждите.

— Но как же... — Виктор Степанович шагнул вперед, преграждая путь. — Елена Сергеевна, он же дурак, он не со зла... У него голова не на месте! Пожалуйста...

— Простите, — я обошла его и открыла входную дверь. —

В таком состоянии лечат не ноги, а голову. Но я не психиатр. Прощайте. Деньги я верну.

Я вышла в темный подъезд. Сзади, из-за закрытой двери квартиры, донесся приглушенный, яростный крик Марка:

— Да и катись! Поняла?! На фиг ты мне не сдалась со своими ландышами! Я сам встану! Слышишь?! Сам!

Я сбегала по лестнице, не чувствуя ног. Сердце колотилось в самом горле. Выскочив на улицу, я жадно глотнула свежий майский воздух. Вечерело. Во дворе играли дети, пахло сиренью и пылью.

Я шла к остановке, сжимая ручку сумки так, что пальцы онемели. Внутри всё дрожало от обиды и странного, сосущего чувства вины перед Алёнкой. Я только что выбросила три тысячи рублей в мусорное ведро. Я оставила парализованного человека один на один с его злобой в темноте хрущевки.

Но я знала одно: если я вернусь к нему завтра без его извинений, я перестану быть врачом. И тогда Егор Соколов никогда не станет человеком.

Я села в пустой троллейбус и прижалась лбом к холодному стеклу. За окном проплывали огни Горького, а в голове всё еще звучал его крик. Он был полон такой боли, что мне на секунду захотелось вернуться. Но я заставила себя закрыть глаза.

Дуэль началась. И первый раунд остался не за мной. Но я была Глыбой. А глыбы не прощают трещин.

Глава 9(Марк)

(от лица Марка)

Сумерки вползали в комнату медленно, как ядовитый туман. Сначала исчезли углы, потом растворилась в тенях полированная стенка «Хельга», и только олени на настенном ковре продолжали пялиться на меня своими неживыми стеклянными глазами. В лунном свете, пробивающемся сквозь немытое стекло, они казались насмешливыми свидетелями моего триумфального падения.

«Да и катись! Сам встану!» — мой собственный крик всё ещё вибрировал в ушах, позорный и пустой.

Я лежал на спине, вцепившись пальцами в край колючего одеяла. В прихожей мерно, с тяжелым металлическим лязгом, тикали часы «Янтарь». Раз — секунда моей новой, ничемной жизни. Два — ещё одна. В 2024-м время летело, здесь оно превратилось в густую, липкую смолу.

Я пытался вызвать в себе привычную ярость Савицкого. Вспомнить, как я ставил на место обнаглевших застройщиков, как увольнял ассистентов за неправильно поданный кофе. Но ярость не шла. На её месте разрасталась холодная, сосущая пустота. Я был Марком Савицким, но здесь, в этой хрущевке, это имя весило меньше, чем пыль под моей кроватью.

В горле пересохло так, будто я наглотался песка. Сказался

дневной ор и литры желчи, которые я выплеснул на Елену Сергеевну. На тумбочке, всего в полуметре от моей головы, стояла эмалированная кружка. Я видел её смутный силуэт. Вода. Обычная вода, которая в моем прошлом мире стояла копейки и текла из дизайнерских кранов, теперь казалась мне святым Граалем.

— Мать! — позвал я, но голос сорвался на жалкий сип.

Никто не пришел. За стеной было тихо, только изредка слышался приглушенный шум проезжающей по проспекту машины. Родители, видимо, решили дать мне «остыть» или просто боялись заходить после моего последнего выступления.

«Сам встану, значит? Ну давай, Савицкий. Докажи, что ты чего-то стоишь без чековой книжки и папиного влияния».

Я уперся локтями в матрас. Панцирная сетка под моим весом жалобно заскрипела, словно предупреждая о катастрофе. Я начал медленно, сантиметр за сантиметром, подтягивать свое тело к краю. Нижняя часть была чужой. Она не просто не двигалась — она мешала. Ноги ощущались как два тяжелых, набитых мокрым песком якоря, которые тянули меня в бездну.

Я дотянулся до края тумбочки. Пальцы нащупали холодный, облупившийся металл. Еще немного. Только схватить кружку, сделать глоток — и я снова буду королем этого пыльного замка.

Я рванулся вперед, забыв, что у меня больше нет точки

опоры в пояснице. Центр тяжести сместился. Кровать поддалась, сетка спружинила, как катапульта.

Мир перевернулся.

Глухой удар о пол выбил из легких остатки воздуха. Я упал лицом вниз, прямо на ворс этого проклятого ковра, который родители Егора заботливо постелили у кровати. Боль в плече была резкой, но еще страшнее была тишина в ногах. Я не почувствовал удара об пол. Совсем.

Сверху раздался жестяной звон. Кружка, которую я так отчаянно пытался достать, полетела следом. Она ударилась о край тумбочки и опрокинулась. Холодная вода хлынула мне на затылок, стекая за шиворот, а сама кружка с грохотом покатила по паркету, затихая где-то под шкафом.

Я лежал, уткнувшись носом в пыльную шерсть ковра. Пахло старым жильем, нафталином и моим собственным поражением.

— Твою мать... — прошептал я в ворс. — Твою же мать...

Я попытался подняться на руках. Локти разъезжались на гладком полу, пальцы цеплялись за края ковра, но ноги... ноги были беспощадны. Они придавили меня к полу, как бетонные плиты. Я дергался, извивался всем торсом, задыхаясь от ярости и унижения, но только развозил лужу воды по полу.

Я замер, обессилев. Взгляд уперся в щель под шкафом. Там, в вековой пыли, лежала забытая пуговица и какой-то сухой муравей. Мы были с ним на одном уровне. Два ник-

чемных насекомых в масштабах этой вселенной.

В этот момент меня накрыло осознание. Настоящее. Хирургически точное.

В 2024 году меня уже нет. Там, на Кутузовском, догорают остатки моей Ferrari, а вместе с ними — и вся моя жизнь. Отец, наверное, уже купил самое дорогое место на Новодевичьем. Друзья выпили элитного виски на поминках и уже делят мои контракты. Красотки, которых я водил по ресторанам, нашли новых спонсоров. Для того мира я — труп. Цифра в статистике ДТП.

А здесь я — овощ. Механик Егор, который даже воды попить не может без посторонней помощи.

Внезапно из-за стены донесся звук. Тихий, надрывный, монотонный.

Хрущевские стены не умели хранить секретов. Я услышал скрип старого дивана в соседней комнате. И плач.

Это не была истерика. Любовь Ивановна плакала тихо, в подушку, так, как плачут над гробом.

— Витенька, ну за что же нам это? — её голос, приглушенный стеной, прозвучал так отчетливо, будто она стояла рядом. — Он же нас не видит. Совсем не видит. Глаза злые, чужие... Как будто не наш Егорушка в нем сидит, а бес какой.

— Перестань, Люба, — отозвался отец. Голос у него был тяжелым, прокуренным. — Травма это. Доктора говорят — личность меняется. Потерпи.

— Да как терпеть, Витя? Деньги-то... «Москвич» твой продали, книжку всю выгребли... Елене Сергеевне отдали всё до копейки, а он её выгнал. Как мы теперь? Завтра за лекарствами ехать, а у нас в кошельке — только на хлеб да на молоко осталось...

Я застыл. Холод пола пробирался под майку, но внутри жгло сильнее.

«Москвич» продали. Всё до копейки.

Они отдали свою единственную ценность — старую колымагу, на которую копили полжизни, — чтобы какая-то «Глыба» из города приходила и мяла ноги их сыну-подонку. Которого они любят просто за то, что он есть. Даже если он орет на них и называет колхозниками.

Впервые в жизни мне стало не жалко Марка Савицкого. Мне стало тошно от самого себя. В 2024-м я считал себя богем, потому что мог купить любого. Здесь меня купили. Купили на последние гроши, вывернув карманы, просто чтобы дать мне шанс. А я этот шанс разбил об стену вместе с эмалированной кружкой.

Я лежал на полу, и по моим щекам, смешиваясь с разлитой водой, катились слезы. Настоящие, горькие. Я не плакал даже в детстве, когда разбивал коленки. Но сейчас я чувствовал, как внутри меня что-то умирает. Тот лохотный мажор в костюме от Brioni окончательно сгорел в этой пыли под ковром с оленями.

Я так и провел эту ночь. На полу.

Звать их я не мог — горло перехватило спазмом стыда. Пытаться забраться обратно было бесполезно. Я просто лежал, слушая, как затихает плач матери, как тяжело вздыхает отец, как тикают в прихожей часы. Я смотрел на плинтус, на ножки тумбочки, на пыльный ворс ковра.

Мир снизу выглядел по-другому. Здесь не было места пафосу. Только голая, неприглядная правда.

Рассвет застал меня в полузабытьи. Комната медленно наполнялась серым, холодным светом. Птицы за окном начали свой издевательски бодрый пересвист.

Дверь скрипнула. Осторожно, едва слышно.

Я не оборачивался. Я не мог. Я просто лежал, уткнувшись щекой в ковер, чувствуя себя раздавленным насекомым.

Шаги. Четкие, уверенные. Стук каблуков по паркету. Запах... запах ландышей.

Она пришла. Забрать вещи? Или родители умолили её вернуться для последнего разговора?

Елена замерла в двух шагах от меня. Я чувствовал её взгляд — тяжелый, оценивающий. Она видела всё: перевернутую кружку, лужу воды, мои беспомощно раскинутые ноги и меня самого, валяющегося в пыли.

Она молчала. Долго. Секунды растягивались в вечность. В этой тишине не было ни капли жалости — только сухая, медицинская констатация факта.

Я медленно, преодолевая сопротивление затекшей шеи,

повернул голову и посмотрел на неё снизу вверх.

Она стояла, сложив руки на груди, в своем неизменном светлом пальто. Лицо — каменная маска.

— Ну что, Егор Викторович, — тихо сказала она. — Как успехи в самостоятельном передвижении?

Я хотел съязвить. Хотел сказать, что пол здесь слишком скользкий, а ковер — дерьмо. Но из горла вырвался только хрип.

Я смотрел в её серые, как сталь, глаза и видел в них свое единственное спасение. Если она сейчас уйдет — я умру. Не физически. Духовно. Я просто превращусь в того муравья под шкафом.

Я сглотнул вязкую слюну и выдавил из себя слова, которые Марк Савицкий не произносил никогда в жизни.

— Пожалуйста... — голос дрожал и срывался. — Елена Сергеевна... пожалуйста... помогите мне.

Она вздрогнула. Совсем незаметно, лишь тень пробежала по лицу. Она ждала новой порции яда, а получила мольбу.

Елена медленно поставила сумку на стул и подошла ко мне. Присела на корточки, и аромат ландышей окутал меня, вытесняя запах пыли и безнадёги.

— Вы поняли, Соколов? — спросила она, глядя мне прямо в душу.

— Понял, — прошептал я. — Я всё понял.

Она протянула мне руку — прохладную, сильную, пахнущую спиртом и надеждой.

— Тогда начинаем заново, — сказала она. — И на этот раз — по моим правилам.

Я вцепился в её ладонь, как утопающий в спасательный круг. И в этот момент я знал: эта женщина — не «дешевка». Она — та самая Глыба, о которую я разбил свою гордыню, чтобы наконец-то начать жить.

Глава 10(Елена)

(от лица Елены)

Я шла по лестничному пролету, и каждый шаг отдавался в висках глухим, ритмичным молоточком. Всю ночь я проворочалась, глядя в темный потолок своей спальни и слушая свистящее дыхание Алёнки. Три тысячи рублей в банке из-под чая жгли мне руки даже на расстоянии. Я чувствовала себя преступницей, укравшей надежду у нищих, и одновременно — мать, которая наконец-то купила своему ребенку право на вдох.

У двери квартиры Соколовых я помедлила, поправляя сумку. Вчерашний выпад Егора всё еще горел на моих щеках невидимым ожогом. «Дешевка в белом халате»... Я знала, что пациенты в его состоянии часто проходят через стадию неконтролируемой агрессии, но в нем это было приправлено каким-то иным, породистым ядом. Словно он действительно привык судить людей по прейскуранту.

Я нажала на кнопку звонка. За дверью было тихо. Ни лая собак, ни звука телевизора — только вязкая, тяжелая тишина. Дверь открыла Любовь Ивановна. Её лицо за ночь словно еще больше осунулось, глаза превратились в две узкие щелочки в ореоле красных капилляров.

— Елена Сергеевна... — прошептала она, прижимая руки к груди. — Мы думали, вы не придете. Спасибо... спасибо

вам.

— Я пришла только потому, что взяла на себя обязатель-
ства, Любовь Ивановна, — отрезала я, проходя в прихожую.
Мой голос звучал суше, чем обычно. — Где он?

— В комнате... Мы зайти боимся. Он там затих под утро.

Я не стала разуваться, только накинула халат прямо по-
верх платья и решительно толкнула дверь в комнату Егора.

Запах ударил в лицо сразу: спертый воздух, застоявшаяся
вода и пыль. Шторы были задернуты, но в узкую щель про-
бивался яркий майский луч, падая прямо на пол.

Моё сердце пропустило удар.

Егор не лежал в кровати. Он был на полу. Свернутый ка-
лачом, уткнувшийся лицом в ворс ковра, он казался выбро-
шенной на берег рыбой. Рядом валялась перевернутая эма-
лированная кружка, и темное пятно воды медленно высыха-
ло на ковре, оставляя соляные разводы.

— Егор? — я бросилась к нему, забыв о своей напускной
холодности. — Соколов!

Он не шевелился. На мгновение мне стало страшно, что
он... но нет, я увидела, как мелко дрожат его лопатки под
тонкой, промокшей майкой. Он был жив. Он просто сдался.

— Виктор Степанович! — крикнула я в коридор. — Ско-
рее сюда! Помогите мне!

Отец Егора влетел в комнату, на ходу вытирая руки о ве-
тошь. Увидев сына на полу, он охнул, и в этом звуке бы-
ло столько первобытного ужаса, что мне захотелось закрыть

уши.

— Живой, живой он, Виктор Степанович, — я перехватила Егора под мышки. — Просто упал. Помогите поднять, только осторожно, за таз придерживайте. Нам нельзя перекручивать позвоночник.

Мы поднимали его вдвоем. Егор был тяжелым. Не той рыхлой, мертвой тяжестью, к которой я привыкла у лежачих больных, а тяжестью литого, атлетичного тела. Его мышцы, еще не успевшие атрофироваться, казались каменными. Пока мы тащили его на кровать, я невольно отметила про себя: у простого механика не бывает такой мускулатуры. Он словно занимался каким-то элитным спортом — плаванием или теннисом.

Егор молчал. Он плотно зажмурил глаза, и я видела, как ходят желваки на его скулах. Ему было не больно — ему было невыносимо стыдно. Вчерашний «хозяин жизни» сегодня лежал в пыли у моих ног, и это поражение было абсолютным.

Когда мы наконец уложили его на панцирную сетку, Виктор Степанович стоял рядом, тяжело дыша и пахня мазутом.

— Как же ты так, сынок... — пробормотал он, пытаясь погладить Егора по плечу.

— Виктор Степанович, принесите чистое белье и сухую майку, — я мягко, но настойчиво отстранила его. — И Любовь Ивановну на кухне придерживите, не надо ей этого видеть. Я сама справлюсь.

Когда дверь закрылась, в комнате воцарилась тишина, на-

рушаемая только тиканьем ходиков в прихожей. Я подошла к кровати. Егор так и не открыл глаз. Его ресницы дрожали, а костяшки пальцев, вцепившихся в одеяло, побелели.

— Ну что, Савицкий... — тихо сказала я, возвращаясь к его «псевдониму». — Далеко ушли?

Он не ответил. Только прерывисто вдохнул через нос.

Я начала стягивать с него промокшую майку. Это была чисто механическая, врачебная работа, через мои руки прошли сотни тел, но сейчас я чувствовала странное, неуместное напряжение.

Его тело было крепким, сбитым — типичный представитель рабочего класса, который не знает, что такое спортзал, потому что его спортзал — это ежедневная работа с железом. Широкие плечи, развитые грудные мышцы, обветренная кожа на шее. Но руки... я невольно задержала на них взгляд.

Это были руки Егора Соколова. Широкие ладони с грубой, ороговевшей кожей, короткие, по-мужски некрасивые ногти со следами въевшегося мазута, который не брало даже больничное мыло. На костяшках темнели свежие ссадины от падения с мотоцикла. Настоящие руки пролетария, привыкшие к гаечным ключам и тяжелым деталям.

И всё же... было в нем что-то инородное. То, как он держал голову, даже когда я обтирала его торс влажным полотенцем. В его осанке, в этом едва заметном повороте подбородка сквозила такая запредельная, лощеная спесь, что у меня перед глазами невольно возникал образ не механика, а

какого-нибудь заграничного аристократа.

Я обтирала его кожу, пахнущую потом, хозяйственным мылом и дорожной пылью.

— Открой глаза, Егор, — сказала я, переодевая его в чистую фланелевую рубашку. — Стыд — это роскошь, которую вы сейчас не можете себе позволить. Хотите ненавидеть меня? Пожалуйста. Но делайте это глядя мне в лицо.

Он медленно разомкнул веки. В его глазах не было ни капли вчерашнего яда. Только бесконечная, черная тоска. И смирение. Лед его гордыни не просто треснул — он провалился в бездну. Глядя на свои широкие, мозолистые ладони, он содрогнулся, словно увидел на них следы проказы.

— Воды... — прошептал он. (...)

Я наполнила чистую кружку из графина и приподняла его голову, придерживая за затылок. Его волосы были густыми и жесткими. Он жадно пил, и я видела, как дергается его кадык. Когда он закончил, я снова уложила его на подушку.

— Спасибо... Елена Сергеевна, — его голос был едва слышен.

Я замерла. Впервые он назвал меня по имени-отчеству без тени издевки. Впервые он признал реальность.

— Не за что, — я присела на край кровати, проверяя его пульс. — Зачем вы это сделали? Пытались доказать, что справитесь сами?

— Пытался понять, где я, — он посмотрел на ковер с оленями. — Знаете, я ведь всю ночь смотрел на эти рога. В мо-

ем мире... там всё по-другому. Там свет не такой. И звуки. Там даже тишина пахнет иначе.

Я внимательно посмотрела на него. Внутренний колокольчик врача-психиатра затрезвонил с новой силой. Это не было похоже на бред величия. Это звучало как... ностальгия. Глубокая, болезненная тоска по дому, которого нет.

— Марк... — я намеренно назвала его этим именем. — Вы постоянно говорите о «вашем мире». Расскажите мне. Только спокойно. Без Ferrari и миллионов. Просто... что вы помните?

Он криво усмехнулся.

— Я помню, как в кармане всегда лежал маленький плоский кирпич, в котором был весь мир. Ты нажимаешь на стекло — и можешь увидеть человека на другом конце планеты. Помню, как в магазинах было столько еды, что люди выбрасывали её тоннами. Помню, как небо было исчерчено следами самолетов, на которых можно было улететь куда угодно без всяких выездных виз.

Я слушала его, и по моей коже ползли мурашки. Он говорил об этом не как о фантастике из журнала «Техника — молодежи», а как о бытовых деталях. Для него это было так же естественно, как для меня — очередь за молоком.

— Елена Сергеевна... — он вдруг перевел на меня взгляд, и я увидела в нем пугающую ясность. — Какой сейчас год? Точно семьдесят восьмой? Без вариантов?

— Точно, — ответила я, не отводя глаз. — Май тысяча девятьсот семьдесят восьмого года. Леонид Ильич Брежнев у власти. В Горьком строится метро. Олимпиада в Москве через два года. Это ваша реальность, Егор.

Он закрыл глаза и глубоко выдохнул, словно из него выпустили остатки воздуха.

— Значит, я заперт, — прошептал он. — В прошлом. В теле калеки. Без связи. Без будущего.

— Будущее у вас есть, — я коснулась его руки. — Просто оно не такое, к какому вы привыкли. Оно пахнет не «синтетикой», а лекарствами и потом. Но оно ваше.

Я встала, чувствуя, что этот разговор вымотал меня больше, чем десять операций. Его дезориентация была системной. Он не просто «забыл» себя — он замещен кем-то другим. Если бы я верила в мистику, я бы сказала, что в Егора Соколова вселилась душа из будущего. Но я была врачом. А значит, я должна была лечить его от психоза.

— Завтра мы начнем ЛФК по-настоящему, — я начала собирать сумку. — Я принесу вам газеты. И книги. Вам нужно... заземлиться. Узнать этот мир заново.

— Я его ненавижу, — бросил он в потолок.

— Это пройдет, — я подошла к двери. — Ненависть — это тоже форма связи. Это лучше, чем то безразличие, с которым вы лежали на полу.

Выйдя на кухню, я увидела родителей. Они сидели за сто-

лом, не притрагиваясь к чаю.

— Как он? — Виктор Степанович поднял на меня глаза.

— Он пришел в себя, — я старалась говорить твердо. — В прямом смысле слова. Он попросил прощения. Завтра начинаем занятия. Кормите его больше белком. И... не противоречьте, когда он несет чепуху про будущее. Просто слушайте. Это его способ справиться с шоком.

Я вышла из квартиры и еще долго стояла на лестничной клетке, вдыхая запах пыли.

Через щель в двери я увидела Егора. Он смотрел в окно. Солнце заливало его бледное лицо, и в этом свете он казался не механиком Соколовым, а каким-то падшим ангелом, который потерял свои крылья и теперь с тоской смотрит на небо, где когда-то летал.

Я понимала, что лед, по которому мы идем, стал совсем тонким. Один неверный шаг — и мы оба рухнем в бездну его безумия. Но почему-то мне совсем не хотелось возвращаться на твердую землю.

Я поправила сумку и пошла вниз, по ступеням, которые теперь не казались мне такими уж тяжелыми. Дуэль продолжалась. Но теперь мы оба знали: правила игры изменились навсегда.

Глава 11(Марк)

(от лица Марка)

Пробуждение в этой квартире всегда напоминало медленную пытку. Сначала в комнату пробирался запах — густой, осязаемый аромат кипяченого молока с пенкой и пригоревшей каши. Следом приходил звук: бодрый голос диктора из радиоприемника «Восток» на кухне, вещающий о небывалых урожаях в колхозе имени сорокалетия Октября. В 2024-м я бы просто нажал кнопку на пульте «умного дома», и шторы бы

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.